

# ВРЕМЯ ШМЫ 6 1976

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ.  
В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ  
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ  
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,  
МЫ ИСПОЛНЕННЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЮ -  
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ  
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ  
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ



Министр здравоохранения Франции СИМОНА ВАЙЛЬ  
и Нобелевский лауреат АНДРЕ ЛЬВОВ на церемонии  
открытия Центра Науки и Культуры в Реховоте.  
Статья Андрея Львова "Искусство, наука и игра".

▲ *Аркадий Белинков*  
*"Проглоченная флейта"*



# ВРЕМЯ И МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ.

№6 апрель 1976

Выходит один раз в месяц

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

- Борис Хазанов  
"Час короля"..... 3  
Михаил Шульман  
"Реб Нухем"..... 72  
"Командарм у параши"..... 87

### ПОЭЗИЯ

- Анри Волохонский  
"Трели бакалавра".....99  
Илья Рубин  
"Горечь памяти".....103

### ФИЛОСОФИЯ И ПУБЛИЦИСТИКА

- Андрэ Львов  
"Искусство, наука и игра"..... 108  
Александр Воронель  
"Время размышлять"..... 125

### РЕЛИГИЯ

- Рабби Адин Штейнзальц  
"Грех и искупление"..... 131

Мартин Бубер  
"Путь человека".....136

#### КРИТИКА

Аркадий Белинков  
"Проглоченная флейта".....152

#### ИЗ ПРОШЛОГО

Фаина Баазова  
"Прокаженные".....173

Коротко об авторах.....212

DIGEST OF 6 ISSUE.....215

OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")

Главный редактор  
Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Владимир Абрамсон	Михаил Калик
Фаина Баазова	Вадим Меникер
Георгий Бен	Борис Орлов (зам. гл. редактора)
Лия Владимировна	Наталья Рубинштейн
Егошуа А. Гильбоа	Йосеф Текоа
Илья Гольденфельд	Аарон Ярив
Михаил Занд	

OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2009 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Все права на литературные произведения, опубликованные в журнале "Время и мы", принадлежат их авторам.

## РАДОСТЬ ОТКРЫТИЯ

#### О ПРОЗЕ БОРИСА ХАЗАНОВА

Читатель, открывая новую книжку журнала, каждый раз надеется на чудо. Редактор журнала, вскрывая по утрам пакеты с редакционной почтой, каждый раз ожидает того же.

Чудеса случаются редко, но все же случаются. Потом они входят во все хрестоматии. Восторги Белинского и Некрасова над рукописью "Бедных людей" Достоевского, торжествующая радость Твардовского при знакомстве с "Одним днем Ивана Денисовича" Солженицына возбуждают надежду на то, что однажды и с нами случится нечто подобное: на наших глазах и при нашем участии рукопись станет книгой, без которой дальше уже не обойтись.

Появление прозы Бориса Хазанова нам кажется одним из таких чудес. Начиная с Ивана Тургенева, европейцы время от времени добавляют то одно, то другое русское имя в свой культурный обиход. Уникальный российский опыт вложен в европейскую прозу, созданную московским евреем Борисом Хазановым.

Только в России возможна такая широта — от кладбищенского реализме воркутинских лагерей ("Глухой неведомой тайгой", "Взгляни в глаза мои суровые") до прибалтийской белесой готики Копенгагена. Только еврей может с такой маниакальной настойчивостью "искать закатившуюся под кровать Родину" (выражение Б.Хазанова). Ему первому удалось отворить Томасу Манну дверь в русскую литературу. Еще вчера мы не знали Бориса Хазанова — сегодня трудно понять, как мы без него обходились. Мы горды своей удачей — представить такого автора стране и миру.

Литература — самая агрессивная из профессий. Нет для нее большей радости, чем шагнуть с корабля на стражи неведомого доселе острова и вбить древко флага в его неподатливую, плодородную землю.



Борис ХАЗАНОВ

# ЧАС КОРОЛЯ

Я знаю, что без меня бог не может прожить и мгновения; и если я превращусь в ничто, то и ему придется по необходимости испустить дух.

Ангел Силезий (Иоганн Шефлер) "Херувимский странник", 1657 г.

Благодарение прозорливому господу — жить со спокойной совестью больше невозможно. И вера не примирится с рассудком. Мир должен быть таким, как хочет Дон-Кихот, и постоянные дворы должны стать замками, и Дон-Кихот будет биться с целым светом и, по видимости, будет побит; а все-таки он останется победителем, хотя ему и придется выставить себя на посмешище. Он победит, смеясь над самим собой...

Итак, какова же эта новая миссия Дон-Кихота в нынешнем мире? Его удел — кричать, кричать в пустыне. Но пустыня внимает ему, хоть люди его и не слышат; и однажды пустыня заговорит, как лес: одинокий голос, подобный павшему семени, возрастет исполинским дубом, и тысячи языков его воспоют вечную славу господу жизни и смерти.

Мигель де Унамуно. "О трагическом ощущении жизни", 1913 г.

В том-то и дело, что вы примирились с несправедливостью нашей участи настолько, что согласились усугубить ее собственной несправедливостью, я же, напротив, полагал, что долг человека — отстаивать справедливость перед лицом извечной неправды мира, твердить свое наперекор всесветному злу. Оттого, что вас опьянило отчаяние, оттого, что в этом опьянении вы нашли смысл жизни, вы осмелились замахнуться на творения человека, вам мало, что он от века обездолен — вы решили добить его. А я отказываюсь мириться с отчаянием; я отмечаю прочь этот распятый мир и хочу, чтобы в схватке с судьбой люди держались все вместе... Я и теперь думаю, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю; кое-что в нем имеет смысл. Это "кое-что" — человек. Ведь он единственное существо, которое требует от мира, чтобы мир наполнился смыслом. И в его правде заключается все оправдание мира.

Альб. Камю. Письма к немецкому другу. Письмо 4-е. Июль 1944 года.

1.

Со времен Нумы Помпилия обычай предупреждать врага о нападении казался до такой степени естественным и даже необходимым, что никому не приходило в голову, насколько проще и удобнее подкрасться сзади и, не окликаая жертву, навалиться на нее и схватить за горло. Эта стратегия могла родиться лишь в стране, испытавшей очистительную бурю национал-социалистической революции. Однако к тому времени, когда канцлер и вождь германского народа подписал приказ о вторжении в маленькую страну, о которой здесь пойдет речь,— страна эта была уже, кажется, восьмым или девятым по счету приобретением рейха, и стратегия молчаливого молниеносного удара успела потерять новизну.

Как и в предыдущих кампаниях, вторжение произошло без особых неожиданностей для командования, в точном соответствии с планом. Не имеет смысла подробно описывать весь поход, ограничимся краткой сводкой событий, происшедших на главном направлении удара. Около пяти часов утра на шоссе, ведущем к пограничной заставе, показалась колонна наездников. Они двигались на первой скорости, по четыре в ряд, как бы приросшие к рогам своих мотоциклов, за ними, громахая, ползли бронетранспортеры, огромные, оставлявшие вмятины на асфальте, за транспортерами ехал лимузин с полководцем, а за лимузином, мягко покачиваясь, катили чины штаба. Все это двигалось из тумана, точно рождалось из небытия. Застава представляла собой два столба с перекладиной. В стороне, у обочины, стоял двухэтажный кирпичный домик. Когда первая четверка, в серо-зеленых шлемах, напоминавших перевернутые ночные горшки, подкатила к перекладине, пограничник, стоявший у рукоятки шлагбаума в каком-то опереточном наряде, казалось, никак не реагировал на их прибытие: в величественной позе, стройный и недвижимый, точно на праздничной открытке, с секирой в руках, он стоял, устремив прямо перед собой светлый восторженный взгляд. Унтер-офицеру пришлось вылезти из седла и самому крутить колесо.

Полосатое бревно со скрипом начало подниматься, но застряло на полдороге — и унтер-офицер, чертыхаясь, дергал взад и вперед ручку ржавого механизма. Промедление грозило нарушить правильный ход кампании, расписанной буквально по минутам.

На крыльцо кирпичного дома вышел начальник заставы, мальчик лет восемнадцати; он сладко зевал и ежился от утренней прохлады. Туман еще стелился над холмами, в синюющих перелесках, на ветках, униженных росой, просыпались птицы. Барсук выбирался из норы, тараша заспанные глаза. Некоторое время мальчик-начальник хмуро взирал на подъезжавшее войско, очевидно, спрашивая себя, не снится ли ему сон, затем с флегматичностью только что разбуженного человека начал расстегивать кобуру.

Он остался лежать перед порогом своего дома,— фуражка с вензелем валялась на земле, золотистые волосы шевелил ветер. Часового, все еще оцепенело стоявшего у шлагбаума, вразумили пинком в пах; ударом приклада вышибли из рук бутафорское оружие. Тем временем солдат в зеленом горшке, взобравшись на крышу, отдирая от флагштока полотнище государственного флага, за которое ему полагался орден. Затем все потонуло в пыли и грохоте.

То же происходило на других заставах; и менее чем за пятнадцать минут армия повсеместно пересекла границу. Отряды парашютистов — крепких ребят с засученными рукавами, вооруженных ножами и автоматами, — высадились в пунктах, которые командованию благоугодно было обозначить как стратегические. Одновременно шла высадка морских десантов в портах. Торговый флот королевства, насчитывавший шестьдесят пять судов и рассеянный по всему миру, как только начали поступать известия о случившемся, не желал вернуться на родину; однако его поджидали в прибрежных водах и у выхода в пролив специальные корабли. Все совершалось быстро, точно, тайно и неотвратимо. Цель, которую руководитель указал командованию, а командование — войскам, была поражена, и наступлена в предельно короткий срок: так было всегда, так произошло и на этот раз. В штабах непре-

рывно звонили телефоны, лакированные козырьки полководцев склонялись над картами, телеграф выстукивал шифрованные депеши. Армия была слишком громоздким и многосложным механизмом, генералы получали слишком высокое жалование, а военная наука, с которой они сообразовывали каждый свой шаг, была слишком серьезной, слишком важной и возвышенной наукой, чтобы можно было просто так, без зловещей помпы и секретности, без всеобъемлющего плана и многостраничной, многопудовой документации подмять под себя безоружную и беспомощную страну. Вдобавок завоеватели, в силу некоего атавистического романтизма, испытывали полуосознанную потребность представить суровым подвигом то, что на деле было едва ли опаснее загородной прогулки. С трех сторон, направляясь к столице, двигалась, поднимая пыль, гремящая, тархтящая масса; и навстречу ей в жидком блеске апрельского солнца поднимались из-за пригорков маленькие города с высокими шпилями соборов, на которых звонили колокола. Государство, жившее какой-то призрачной, сказочной жизнью, было в самом деле не больше воробьиного носа — *lächerliches Ländchen*, как назвал его германский фюрер. Мелкие стычки, кое-где омрачившие это утро, не могли задержать нашествие, как не могут остановить слона выстрелы из детской рогатки. Весь поход длился не более трех часов, и бомбардировщики, гудевшие над страной, не успели истратить запас горючего.

## 2.

Такова была ситуация, с которой столкнулось правительство, восстав от сна в этот роковой, но удивительно солнечный и теплый день. Утренний пар еще поднимался над ослепительно блестящими крышами; узорные стрелки на двух тускло отсвечивающих циферблатах башни св. Седрика показывали восемь, когда, как стало известно позже, посол рейха вручил правительству меморандум. В нем кратко говорилось, что империя, озабоченная поддержанием мира на континенте Европы,

нашла необходимым защитить северную страну от агрессии западных союзников; если же правительство держится на этот счет другого мнения, то пусть пеняет на себя: страна будет стерта с земли в течение десяти минут. Само собой разумеется, что ссылка на агрессию с Запада с равным успехом могла быть заменена иной и даже противоположной формулировкой, так как суть дела заключалась отнюдь не в том, что было написано в этой бумаге; бумага была запоздалой данью обычаям, о которых время от времени и совершенно неожиданно вспоминали властители рейха; тем не менее она была необходима хотя бы потому, что существовал посол, обязанный ее вручить, и как-никак существовало правительство, которому этот меморандум — род повестки — был адресован.

К чести королевского правительства нужно сказать, что оно проявило благоразумие. Оно помнило пример соседа, дорого заплатившего за попытку сопротивляться, о чем, впрочем, предпочитали не говорить вслух. Войскам — их в стране было четыре дивизии, — хоть и с некоторым запозданием, был отдан приказ не оказывать сопротивления; а те небольшие попытки дать отпор, которые все же кое-где предпринимались, не имели, как мы уже говорили, последствий. Правительство официально сняло с себя ответственность за подобные акции.

Не требовалось особой догадливости, чтобы понять, что то, что на них надвигалось, превосходило обычные человеческие масштабы; надвигалось нечто бессмысленное, с которым бесполезно было пререкаться; но кто знает, не был ли этот новый и высший порядок внутренне справедлив в своем стремлении водвориться везде: ведь слишком часто люди принимают за насилие то, что является законом. Нашествие нависало над всеми, подобно туче, правильнее сказать — двигалось мимо всех: его цели были одновременно и ясны, и непостижимы; и о нем нельзя было сказать, что оно несло, как смерч: мотоциклисты, мчавшиеся по улицам, были лишь вест-

никами того, что не летело, не несло, не бесновалось, но спокойно и грозно близилось. Новый порядок нес новую философию жизни, новое зрение и новый слух. Новый порядок разматывался, как ковровая дорожка.

В восемь часов город — мы говорим о столице, разумеется — все еще как будто спал: улицы были безлюдны, одни только полицейские с поднятыми жезлами выселились на своих тумбах среди пустых сверкающих площадей; их позы напоминали иератическую застылость египетских барельефов или оцепенение кататоника; а мимо них, мимо закрытых магазинов, занавешенных окон, мимо свежевскопаннных клумб и памятников королям и мореплавателям, через весь город с рокотом неслись куда-то вереницы мотоциклистов.

Как большая лужа притягивает маленькую каплю, заставляя ее слиться с собой, так и оккупация совершилась почти мгновенно и с естественностью физического закона. Может быть, поэтому в городе не наблюдалось никакой паники. Первое время обыватели отсиживались по домам. Большинство учреждений не работало, а продовольственные лавки открылись с запозданием. Ощущение было такое, словно самое главное успело произойти, пока все спали, и город с удивлением привыкал к своему новому состоянию, подобно тому, как больной, пробудившись после наркоза, с удивлением узнает, что операция уже позади и теперь ему остается лишь привыкать к тому, что у него нет ног. Однако, уважая всякую власть, жители города инстинктивно доверяли и этому порядку. Должно было пройти немало времени, прежде чем в их честные, туго соображающие головы могла проникнуть та мысль, что порядок может быть личиной преступления. Разумеется, нравы и философия страны, чьей добычей они стали, были слишком известны. Но это еще не давало повода сходить с ума, выстраиваться в очереди за мылом и спичками или пытаться всеми силами покинуть тонущее отечество.

Не без основания многие говорили себе и окружающим, что такой поворот событий все-таки лучше, чем

если бы страна сделалась ареной военных действий. С романтизмом, свойственным провинциалам, обыватели представляли себе случившееся примерно так: где-нибудь в центре города, на Санкт-Андреас маргт, перед зданием парламента, выстроилось тевтонское войско, и генерал, тощий, как глиста, в крылатых штанах, обходит стремительным шагом ряды; вслед за тем он рапортует на хриплом наречии Фридриха Великого своему фюреру, тоже похожему на гельминта, только более упитанного и наделенного человеческим разумом, — рапортует фюреру, которого представляли себе парящим над городом в огромном аэроплане, о том, что повсюду царят спокойствие и лояльность. Ведь лояльность, понимаемая как доверие к людям, откуда бы они ни явились, — национальная черта этого народа, не так ли? И в конце концов немцы, что бы о них ни говорили, — цивилизованная нация и не допустят бесчинств в стране, традиционно чуждой какой бы то ни было политике. Одним словом, много было приведено доводов, высказано всевозможных домыслов, соображений и осторожных надежд за глухо задернутыми шторами окон, под круто спускавшимися черепичными крышами, ярко блестящими в жидком утреннем солнце. Прислушиваясь к неопределенному гулу и рокоту на улицах, люди гадали, что будет с их тихой жизнью; с их городом, где каждый день на рассвете хозяйки мыли тротуары горячей водой, каждая перед своим домом; с их сухим и чудаковатым, похожим на старого пастора королем. Но гул, слышный вдаль, не был гулом крушения, а лишь предвестником нового, может быть, более усовершенствованного порядка, и это их утешало.

### 3.

"Трам, там там! Тра-ля-ля!" Две девочки в бантах, в незастегнутых пальто скакали, взявшись за руки, в прохладной тени одной из узких улиц, ведущих к Острову, а сверху на черепичные крыши низвергался целый поток света, и зловещая тишина города, по-видимому, ни-

сколько не смущала девочек. Сцепившись руками, они неслись по асфальту особенным, лихим и независимым аллюром, который был известен у всех детей города под именем "африканского шага" — несомненно, знакомого и читателю — и от которого взлетали их косички и колыхались банты, как вдруг со стороны бульвара донесся стрекочущий звук, похожий на звук пулемета. Обе остановились, переглянулись и, приснув, бросились в ближайший подъезд, испытывая страх и восторг. Там они, поднявшись на цыпочки, стали выглядывать в щель, через которую швейцар обыкновенно смотрит на посетителя.

Звук, а с ним и еще что-то приближались, потом на минуту стихли; вдруг совсем близко раздалась оглушительная очередь, как будто — позволим себе экстравагантное сравнение — бегемот присел за нуждой: из-за угла, правя рогами, выехал серо-зеленый мотоциклист, на нем был горшкообразный шлем, на груди висел бинокль. Несколько мгновений спустя в нараставшем гуле из-за поворота, едва не задев за угол дома, вывалился многоколесный боевой фургон, на котором ровными рядами, как грибы, покачивались шлемы. Еще два таких фургона ехали следом и загромоздили всю улицу. Шум моторов, вероятно, поверг жителей в никогда еще не испытанный ужас. Колонну замыкал бронированный автомобиль с важными дядьками в задранных фуражках; они с необыкновенной серьезностью, блестя монотонными глазами, смотрели вперед. Девочки проводили их восхищенными взглядами, и вся процессия, громокая, постепенно исчезла в узкой горловине улицы, выходящей на Остров.

Островом издавна именовали часть города, отделенную каналом от остальных кварталов. В будни здесь всегда было пустынно, зато по воскресным дням на набережной и по сторонам широкого плаца толпилась публика, следя за парадными экзерцициями стражи. Направо от площади, если стоять спиной к мосту, возвышается башня, весьма известная историческая реликвия, вот

уже триста лет выполняющая функции национального будильника. Налево открывается вид на дворец.

Три бронетранспортера и машина с офицерами вермахта с грозной неторопливостью перевалили за мост и поехали с ужасным шумом наискосок через пустынный плац. В машине (это стало известно позже) находился личный уполномоченный только что назначенного рейхс-комиссара с представлением бывшему королю и инструкциями по наведению порядка во дворце. У ворот обычно маячили фигуры часовых, одетых чрезвычайно живописно, с аркебузами на плечах. В этот час, однако, перед воротами никого не оказалось. Тускло сияли золоченые копыта ограды, подняв лапы, по обе стороны входа застыли крылатые львы. А за оградой, на чисто выметенном газоне, едва успевшем зазеленеть, в боевом порядке выстроились полсотни всадников: это была великолепная когорта, обломок славного прошлого, гордость нации, золотой сон девушек — конная королевская гвардия, учрежденная по указу основателя династии 446 лет назад. Гвардия стояла под знаменем, в полной неподвижности на фоне дворца, точно позировала для видового фильма.

Прошло еще немного времени (немцы ехали по площади), и на башне начали бить часы. Пробило девять. И тотчас за оградой слабо и мелодично пропел рожок. Шелковый, синий с зеленым штандарт на копьевидном древке в руке передового слегка наклонился вперед, и на нем расправился и заблестел на солнце некий символ — герб, вышитый, согласно преданию, золотой нитью из своей косы девушкой, которая вышла из вод северного моря, дабы сочетаться браком с королем. Не доезжая ворот, солдаты спешили. Вот тогда это и произошло.

Нелепая история, абсурд, достойный сумасбродного феодального захолустья, каким-то чудом сохранившегося на задворках Европы! Примерно в таких выражениях характеризовали случившееся иностранные газеты, в двух строках сообщившие об этом инциденте, который уже тогда был воспринят как малоправдоподобный

анекдот. Прежде чем немецкие солдаты успели подбежать к решетке дворца, кованые ворота распахнулись, и эскадрон с саблями наголо, сверкая касками, вылетел навстречу гостям.

От неожиданности немцы попятились. Машина с уполномоченным дала задний ход. Завоеватели были скандализованы. К восьми часам утра, как уже упоминалось, кампания считалась законченной; по крайней мере, так предусматривал план, и решительно ни у кого не было причин сомневаться в том, что этот план будет неукоснительно выполнен. И если для высшего командования операция сохраняла свое военное значение ввиду общей обстановки и географического положения страны, то личный состав до последнего солдата буквально был лишен способности принимать что-либо в этой стране всерьез. Подразделение, получившее приказ занять Остров, двигалось, вооруженное фотоаппаратами. Офицеры ехали с сигарами в зубах. Есть сведения, что атака рыцарей была поддержана пулеметным огнем из верхних окон дворца. Эти сведения сомнительны. Иначе трудно объяснить, почему не была разрушена до основания резиденция "старой куклы" — выжившего из ума короля.

Впрочем, совершенно очевидно, что ни глава государства, ни его министры не имели ровно никакого отношения к этой неожиданной вылазке. Монарх дрожал от страха, запершись в своем кабинете. Что касается правительства, то, как уже было сказано, оно старалось подать пример благоразумия. Давая объяснения, бывший министр национальной обороны, мэр города, а также гофмаршал двора, в ведении которого находилась дворцовая стража, согласно заявили, что ими не было отдано никаких приказов; тем самым они признали, что были не у дел, а значит, и не могли нести ответственности за случившееся. Отвечать надлежало командиру эскадрона, человеку с длинной и труднопроизносимой фамилией, двадцатичетырехлетнему отпрыску древнего рода. Но он лежал на мостовой в роскошных голубых рей-

тузах, запачканных кровью, в расколотой каске, окруженный четырьмя с половиной десятками своих подчиненных и трупами поверженных лошадей. Вся гвардия лежала на площади и уже не могла предстать перед судом. Вокруг бродили солдаты с засученными рукавами, бранясь вполголоса, поднимали за ноги и за руки искалеченные тела и швыряли их в подъезжавшие грузовики. Спустя полчаса по площади проехала водоструйная машина, и все следы короткого боя были уничтожены.

#### 4.

Итак — подведем еще раз итоги, — оккупация более или менее благополучно состоялась. Нельзя сказать, чтобы такое развитие событий оказалось неожиданным для Седрика. Примерно с осени 1940 года, когда жертвой необъявленного нападения пал северный сосед, подобный исход начал представляться весьма вероятным. Очевидно было и то, что страна не могла рассчитывать на чью-либо помощь извне. Об этом ясно и жестко, в своей обычной манере, заявил, выступая перед журналистами, первый лорд британского адмиралтейства. Он сказал, что северные страны представляют, по его мнению, наиболее вероятный в ближайшем будущем объект военных операций. Но если Швецию и Норвегию отделяет от хищника, так сказать, ров с водой, если Дания имеет шансы откупиться путем территориальных уступок, то эта страна, *this unfortunate country*, находится в столь неблагоприятной ситуации, что помочь ей будет чрезвычайно трудно. "That's why, — добавил Черчилль, — I would in any case not undertake to guarantee it"

Рейх одержал еще одну из своих бесчисленных побед. Во имя чего? С точки зрения абстрактных надчеловеческих сил, этих зловещих выкормышей гегельянской философии — с точки зрения Истории нации, Политики, —

---

\* Вот почему я ни при каких обстоятельствах не поручился бы за нее.

все это, возможно, имело какой-то смысл. С точки зрения реального живого человека все случившееся было бессмыслицей. Омерзительное и тоскливое чувство, в котором он физически отождествлял себя со страной-ребенком, сбитым с ног кулаком бандита,— повергло Седрика не то, чтобы в уныние, но в состояние, знакомое душевнобольным — ощущение нереальности происходящего. Точно до сих пор он был зрителем и глядел из удобного кресла на сцену, где разыгрывалась пьеса какого-то сумасшедшего авангардиста, и вдруг актеры прыгнули с подмостков и, держа в каждой руке по пистолету, начали грабить зрителей. И тогда стало ясно, что абсурдный спектакль, вся соль которого была в его очевидном неправдоподобии, на самом деле вовсе не мистификация, не бред, не вымысел автора, а самая настоящая действительность.

## 5.

День Седрика начинался в восемь часов. Он часто просыпался перед рассветом, потом задремывал, но в урочный час не разрешал себе лежать ни одной лишней минуты: в его жизни, как и в жизни его близких, господствовал дух протестантской строгости и простоты. Душ, массаж, утренний туалет перед высоким тусклым зеркалом в дубовой раме — все совершалось с меланхолической торжественностью, как если бы неукоснительное соблюдение распорядка было целью и смыслом существования. Этот порядок предусматривал даже утреннюю боль в затылке, вызываемую, однако, отложениями солей, а не спазмом сосудов, вопреки мнению доктора Каруса. После завтрака, которому можно было бы посвятить специальное исследование, настолько глубокий — медицинский и христианский — смысл был вложен в его изощренную убогость, Седрика ожидал в кабинете секретарь, следовало выслушивание доклада, визирование бумаг и прочие дела его основной должности. С двенадцати до часу — прогулка в седле. После ленча Седрик уезжал в клинику. Последнее время он подол-

гу задерживался там. Конгресс в Рейкьявике, объявленный на конец мая, был отложен ввиду международной обстановки; Седрик надеялся использовать эту отсрочку для пополнения своего материала.

Обед — в семейном кругу; за длинным столом на высоких стульях с длинными спинками, под стать самому хозяину, сидели: супруга Седрика, его младший сын Кристиан, жена Кристиана и внуки. (Старший сын, согласно официальной версии, находился на длительном лечении за границей.) Обыкновенно за столом присутствовал и доктор Карус. Кристиан, презираемый сын, был профессором немецкой классической философии — отрасли, демонстрирующей ныне, по мнению Седрика, позорный крах; ибо нельзя же было отрицать, что от Иоганна Шефлера, "силезского ангела", тянется нить, на другом конце которой болтается, увы, Альфред Розенберг; не говоря уже о Гегеле, которого Седрик обвинял в легкомысленном потакании "всеобщему", в торжестве человекоядного этатизма; словом, не кто иной, как Кристиан, здесь, в мрачноватой столовой, над остывающим крупяным супом, обязан был *ex officio* нести ответственность за роковое вырождение германского духа, за грезы Шиллера, обернувшиеся бессмыслицей пролетарской революции; вообще судьба уготовила Кристиану роль отступника — даже в чисто конституциональном смысле; достаточно было взглянуть на него: толстый, благодушный, с крупными женоподобными чертами лица, не чуждый радостям жизни, снисходительно-покладистый, наивно-эгоистичный, "беспринципный". Подруга жизни его была немка из старинного семейства, тусклая и худосочная особа. Обедали поздно, и зимой в это время в столовой уже горели лампочки в виде свечей. После обеда Седрик писал в библиотеке; вечером чтение с внуками, партия в шахматы с доктором и любимый Гендель. Так проходил его день.

Ровно в двадцать три часа тридцать минут Седрик, седой и тощий, прочитав молитву, взбирался на высокое и неудобное ложе подле ложа Амалии. За сорок с лиш-

ним лет их брака, он, можно сказать, ни разу не видел свою стыдливую и чопорную супругу всю целиком. В описываемое время Амалия изображала из себя маленькую пожелтевшую старушку почти вдвое ниже ростом Седрика. Оба лежали в одинаковых позах, на спине, изредка обмениваясь короткими фразами; в общении их слова, скорее, играли роль камертона: как это бывает у долголетних супругов, они давно научились беседовать молча. На высоко взбитых подушках узкая, старчески сухая голова Седрика покоилась, точно на одре смерти; глаза, угасавшие под морщинистыми веками, походили на желваки. В рюмке на столике, рядом с ночником, стояли капли датского короля, стояла минеральная вода на случай изжоги. Для Амалии был приготовлен нитроглицерин. Над изголовьем висела сухая ветка багульника, отгоняющая дурные сны. Звон курантов на башне Святого Седрика пробуждал видения далеко ушедших безвозвратных времен. Седрик вздыхал, и тихо вздыхала возле него молчаливая Амалия. Длинные, сложные, ветвистые воспоминания, точно водоросли, поднимались вокруг, и постепенно король Седрик X погружался в сон.

6.

В одно утро привычный многолетний уклад жизни был разрушен. Это крушение, ощущаемое ежеминутно, удручало еще больше, чем крушение мирового порядка. Так человек, со стоическим равнодушием взирающий на пламя, которое пляшет над кровлей его дома, не может сдержать слез при виде какой-нибудь обугленной безделушки. Но разве вся страна не была его домом, его семьей? Седрик привык получать к рождеству или ко дню рождения сентиментальные поздравления от незнакомых людей; когда десять лет назад у него открылась язва желудка, родители говорили детям, что надо вести себя хорошо и не огорчать папу и маму теперь, когда у всех такое горе. Карикатуристы изображали короля, высокого, как Гулливер, и тощего, как

Дон-Кихот, стоящим на одной ноге на пяточке своего крошечного королевства, поджав другую ногу, для которой не хватило места. Ему бы еще дедушкины латы и бритвенный тазик на седую голову. Да, монархия — пережиток, подобный рыцарским аксессуарам чудака из Ламанчи; он и не спорил против этого. Но что поделаешь, если в глазах сограждан он был Государством, воплощенным в образе человека, и оттого, что он был живым человеком, который живет здесь поблизости, которого легко увидеть, государство все еще воспринималось в этой стране — в этом и состоял ее удивительный анахронизм — как нечто близкое всем, как общее дело и общая жизнь. Теперь всему этому пришел конец. Новое государство, поглотившее их, несло в мир порядки концлагеря; принцип человеческого общежития оно заменило принципом всеобщего беспрекословного служения некоторой абстракции, лишенной, как легко было понять, какого-либо реального, жизненного содержания. На знамени этого государства были начертаны слова: рабочий класс, нация и социализм; но чем оно было по существу, об этом можно было судить по тому образу, который оно подняло над собой, как священную хоругвь; ибо оно тоже было персонифицировано в одном человеке — и в каком человеке! В человеке, который словно нарочно был выбран, дабы проиллюстрировать невиданное доселе падение человечества. Рядом с ним — а судьба, что ни говори, поставила их рядом — Седрик чувствовал себя поистине неизвестно для чего сохраняемой фигурой — бесполезным стариком, которому время убираться на погост.

Это малодушие, которому поддался король в памятное апрельское утро, объясняет его странную бездельность перед лицом событий на Острове, о которых мы уже говорили. Да и в дальнейшем, когда понадобилось его участие в решении неотложных государственных дел, король уклонился от каких бы то ни было действий. Можно сказать, что государь уподобился своему народу. Да и что он мог предпринять? С утра он нахо-

дился в своем кабинете; только что башенные часы пробили девять, время, когда у ворот дворца пел рожок; длинные ноги Седрика в узких черных брюках были скрещены под столом, длинные и худые пальцы с короткими ногтями, пальцы хирурга, безостановочно барабанили по краю стола; костлявый подбородок зло и отрешенно вознесся кверху, и на тощей шее перекачивался кадык. Король был при полном параде, с лентой и Рыцарской звездой, его фрак украшала цепь. Он не мог заставить себя подойти к окну, глотал кислую волну изжоги и колотил пальцами. Налево от него, в высокой раме окна, стоял секретарь с видом человека, который с минуты на минуту ждет телефонного звонка — а может быть, и трубы Страшного суда; направо — утонула в глубоком кресле тщательно одетая и причесанная Амалия.

На плоской груди ее висело только одно — но очень дорогое — украшение. Несомненно, из трех присутствующих королева нашла для себя наиболее достойное занятие. Она вязала. Не далее как на прошлой неделе ее величество завершила работу над семьдесят четвертым по счету набрюшником для мужа; ныне она трудилась над шерстяным кашне, вещь во всех отношениях необходимой в теперешние тяжкие времена. И ничто на свете не могло заставить ее прервать это занятие. Но оно имело и другой, более возвышенный смысл. Желтовато-седой шиньон Амалии и ее детские ручки, занятые работой, излучали чисто женскую уверенность в торжестве жизни, они внушали надежду, что все как-нибудь обойдется, наконец, они внушали мужество. Пока там, у ворот, мальчик с длинной и трудно выговариваемой фамилией, крестясь, горячил коня, перед первым и последним в своей жизни боем, Амалия готовилась встретить недруга на пороге своего дома со спицами в руках.

А тот, чья честь была поставлена на карту, кто против своей воли позвал на смерть это игрушечное войско, — оцепенел, застыл как бы в параличе, устремив в пространство бессмысленно-блестящий и загадочный взор.

Честь? Но что скрывалось за этим понятием? Подобно некоторым оптическим иллюзиям, оно исчезало, едва только взгляд рассудка пытался фиксировать его. Честь — это могло значить только одно: долг перед самим собой. Так в чем же состоял его долг? Он был стар, а на площади лилась кровь. Он был стар, а они были молоды. И самое лучшее, что он мог сделать, — это встать и выйти пешком на улицу и умолять немцев пощадить его безрассудных детей; выйти безоружным, с седой головой и с именем Христа на устах, как выходили священники в некоторых селах России, навстречу карателям. Но он был не способен на это. Он знал, что в эту минуту с ним спорит его собственный предок — тот, который был нарисован на стене в малом зале. Да, он видел себя мысленно на площади: солнце слепило глаза, вдали громыхало тевтонское полчище. Он сидел на коне во главе своей гвардии.

Снаружи донеслось приглушенное расстоянием хлопанье противотанковых ружей. Желтый луч заиграл на шиньоне Амалии, и стальные спицы с судорожной быстротой замелькали в ее руках. Секретарь стоял, как гипсовое изваяние, глаза его медленно расширялись. Ударил пушка. Затем раздался шаг в приемной, вошел свитский полковник, вполголоса доложил, что бой на площади окончен.

Казалось, что-то немедленно должно было произойти, ворваться в двери, загреметь сапогами по лестницам; в ушах уже звучали хриплые команды, звон разбитых стекол... Но все молчало. В завесах света трепетали сверкающие, как искры, пылинки. Время, казалось, повисло в воздухе, как эта пыль. И так мирно, так солнечно было на едва успевших покрыться зеленым пушком лужайках перед фасадом дворца, так светло и счастливо горели вдали золотые копьевидные прутья ограды, что странный покой на минуту снизошел в душу. И настал мир на земле и в человеках благоволение.

Не дождавшись ответа, полковник попытался и неслышно закрыл за собой высокие темные двери. Сед-

рик поднялся. В глазах у него стояли слезы. Стыдясь этой старческой слабости, он опустил сухую серебристую голову, точно провинившийся ученик. Ситуация выглядела нелепой: о короле забыли. И он почувствовал себя горько обиженным, как только можно быть обиженным в детстве. В этом пустынном и, очевидно, покинутом всеми дворце он и впрямь превратился в никому не нужный музейный экспонат. Его даже не находили нужным арестовать!

Когда он снова поднял голову, глаза его блестели сухим, почти мертвенным блеском. Из приемной донесся шорох, — Седрик словно ждал его. Он выскользнул из-за стола. Выщипанные бровки королевы взлетели кверху; медленно поползли на лоб холеные соболиные брови секретаря. Седрик распахнул двери. Обстоятельства прояснились. В приемной стояли фигуры с автоматами. Внезапное их явление напоминало фокус в театре, когда вспыхнувший свет открывает действующих лиц, неизвестно как очутившихся на сцене.

Седрик почувствовал необычайное облегчение. На руках у всех были повязки: то был знакомый по киножурналам, по фотографиям в газетах — знак тарантула. Некто в сверкающих сапогах, со стеклом в глазу двигался ему навстречу. Однако Седрика постигло разочарование. К вечеру этого дня жители прекратившей свое существование страны узнали, что их король жив и невредим и находится под домашним арестом — впрямь до особого распоряжения оккупационных властей.

7.

Здесь позволим себе упомянуть об историческом событии — церемонии, состоявшейся в малом зале дворца. Не потому чтобы она имела действительное значение в ходе дальнейших происшествий — весьма скоро для всех стало ясно, что отныне события совершаются не по свободному решению свободно собравшихся людей, а в силу таинственного произвола никому неизвестных высших инстанций, от людей же требуется лишь восторжен-

ная готовность исполнять приказания, — но потому, что она, эта церемония, была последним испытанием, последним вопросом, который судьба задала королю и на который он волен был ответить так, как ему заблагорассудится; как уже говорилось выше, он и на сей раз уклонился от ответа. Но ведь и это был своего рода ответ. Седрик, хотел он этого или не хотел, сказал: да. И больше его уже ни о чем не спрашивали.

Название "тронный зал" не должно вводить в заблуждение. Уже много лет сюда наведывались только туристы да школьники. Не так давно зал арендовала, загромоздив его осветительной аппаратурой, всемирно известная фирма Скира. Ее сменила какая-то кинокомпания. Быть может, не все читатели знают, что именно здесь находится мозаичное панно — прославленный памятник искусства Северного Возрождения. Панно создано в начале XVI столетия. Оно изображает батальную сцену: король Седрик Святой бок о бок с архангелом Михаилом во главе победоносного воинства.

Эта картина и послужила своего рода живописным задником для процедуры, имевшей произойти в зале.

В зал внесли длинный стол, расставили пепельницы и бутылки с минеральной водой, разложили автоматические перья и бумагу, — весь этот реквизит, явно бесполезный, как бы подчеркивал ненужность ритуала, единственной целью которого было придать видимость благообразия последним корчам умерщвленного государства.

Король вошел, и все встали — жалкое сборище склеротических старцев, незадачливых правителей, страдающих одышкой и избытком сахара в крови. Над их белоснежными воротничками нависали складки розоватого жира. Военный министр ослеплял взоры парадным мундиром, но нужно ли говорить, насколько неуместной выглядела здесь эта выставка крестов и звезд. Окинув взглядом собрание, король Седрик сел (точно подломился), и тотчас уселся и посол Германии, но, заметив, что все стоят, вскочил почти непроизвольно, — это ма-

ленькое происшествие доставило облегчение присутствующим. Седрик, окаменелый, посвечивал перед собой прозрачным взором, лишенным какого-либо выражения. Наконец он выдал: "Прошу". Все сели. Теперь посол стоял, монокль сверкал у него в глазнице. "И вы, сударь", — сказал Седрик по-немецки.

Премьер-министр, похожий на мистера Пиквика и, кстати, бывший пациент клиники, где его величество удалил ему года полтора назад опухоль простаты, голосом, каким говорят в классических пьесах благородные отцы обесчещенных дочерей, прочел заявление кабинета. В изысканных выражениях правительство протестовало против насилия. Оно напоминало об институтах международного права, традициях, восходящих ко временам Рима; сослалось на пакт о ненападении, заключенный между его страной и Веймарской республикой. (Посол пожал плечами.) Все это служило, однако, лишь поэтическим предисловием. Премьер остановился, чтобы подкрепиться минеральной водой. Он продолжал. Под гнетом обстоятельств, уступая силе, королевское правительство сочло себя вынужденным принять оккупацию как факт. Оно обещает выполнить волю победителя. Границы будут закрыты; всякие сношения с западным миром будут прерваны. Будет учрежден контроль над радио и печатью. И так далее.

Внимая этой обиженной речи, посланец рейха на другом конце стола блистал, точно прожектором, стеклянным окном. Упоминание о гарантиях порядка и справедливости, на которые притязал оратор, слишком мягко произнося немецкие слова, приподнимая левой рукой старомодные очки и чуть ли не вода носом по тексту, вновь заставило посла пожать жирными плечами. Со стены, воздев крестообразный меч, на посла взирал зеленоглазый король-рыцарь; другой король возвышался на председательском кресле, и его коротко остриженная серебряная голова приходилась вровень со шпорами всадника. Прямой, как бамбук, со зло задранным подбородком, с тусклым бешенством в хрустальных стар-

ческих очах Седрик стоически терпел благообразную ахинею, которая лилась из округлых уст премьер-министра. Чувствовал, как кислая волна медленно поднимается к горлу со дна желудка. В кругах, близких ко двору, да и не только в кругах, хорошо было известно, что его величество страдает повышенной кислотностью, по крайней мере, сорок лет.

Было ясно, что ход событий, как и движение светил, ни от кого не зависит. Означает ли это, что мы беспомощны перед лицом этого извечного ультиматума? Безвыходность избавляет от ответственности — перед кем? Перед другими. Но не перед самим собой. Именно так оценил ситуацию кузен, северный сосед.

Положим, прав Спиноза, говоря, что упорство, с каким человек отстаивает свое существование, ограничено, и сила внешних обстоятельств бесконечно превосходит его; положим, не в нашей власти одолеть бурю. Но от нас будет зависеть, какой флаг взвевается над гибнущим кораблем. В цветах этого флага — вся наша свобода! Скандинавские государства, как известно, сохранили традиционную форму правления. Что же сделал кузен? В ситуации, как две капли воды похожей на эту, он заявил, что отречется, если нация примет условия захватчика. Поразительная вера в себя, граничащая с безумием уверенность в том, что твой голос будет услышан в этом лягзе и грохоте механизированного нашествия, фанатическая верность идее, представителем, нет, заложником которой ты ощущаешь себя на земле! Король — есть символ свободы. Но нация не состоит из королев. Чем обернулось все это для его народа, для беззащитных женщин, стариков и детей? Страна была раздавлена.

Посол рейха взял слово, и собрание с дипломатической грацией обратило к нему розоватые лысины с седыми венчиками волос, точно ничего не случилось в мире, точно время не сорвалось с оси в замке Эльсинор, и красные флаги с тарантулом не плескались над зданиями, и кровь убитых не смывала с брусчатки водоструйная машина; посол стоял, мерцая моноклем, с лис-

точком текста, точно певец с нотами; все почтительно слушали. Да, они сознавали историческую важность этой минуты и долгом своим считали хранить спокойствие и благообразие, они называли это выдержкой, а на самом деле старались задобрить хищника своей покорностью, угодливо заглядывали ему в глаза, участливо вникали его нечленораздельному рыку, делая вид, что слушают человеческую речь! Приступ изжоги вновь с небывалой силой настиг короля. Желудок и пищевод, казалось, тле-ли, снедаемые подспудным огнем. Как человек воспитанный, он знаками успокоил певца — мол, продолжайте, я сейчас, — и на цыпочках пробалансировал мимо копыт христианнейшей рати; посол метнул в него грозный луч, затем вновь возвысил голос; король молча вышел из зала.

8.

Мы не смеем предложить читателю собственное решение того, что позднее было названо загадкой рейха; однако не чувствуем себя в силах удержаться от искушения мимоходом бросить взгляд на феномен, в котором, по крайней мере, одна черта пленяет и поражает воображение. Мы имеем в виду ту особенность национал-социалистического государства, благодаря которой атмосфера жизни в нем неожиданно и своеобразно воспроизводила мир душевнобольного, с его чувством исчезновения реальности и незримого присутствия таинственных сил, управляющих его помыслами и всем его поведением.

Рейх и поныне таит в себе нечто завораживающее; сошедший со сцены, он и теперь чарует душу, зовет, как мираж, и притягивает, как взгляд василиска. Рейх казался грандиозной мистификацией. Все его граждане, от привилегированных до обездоленных, от высших партийных чиновников до уличных чистильщиков сапог, стояли как бы в общем заговоре относительно того, что надо и что не надо говорить, и все вместе производили впечатление людей, однажды и навсегда условившихся

говорить друг другу неправду, только неправду, ничего, кроме неправды. Но в том-то и дело, что, убежденные в необходимости скрывать истину, убедившие себя, что не следует даже пытаться вникнуть в суть вещей, как не следует поднимать крышку дорогих часов и заглядывать в механизм, — они и не знали истины.

Таинственность была характерной чертой этого порядка; подобно тому, как большинство людей имеет весьма смутное представление о принципе действия телефона или электрического утюга, подобно тому, как деятельность их собственного тела остается для большинства людей непроницаемой тайной, так огромное большинство подданных рейха не имело ни малейшего представления о том, что происходит в их стране. В этом государстве все было засекречено, все было окутано ревнивой тайной, начиная от внешней политики и кончая стихийными бедствиями и статистикой разводов; никто ничего не знал и не имел права знать, все подлежало тщательной утайке от ушей и глаз всякого, ибо каждый состоял под подозрением и люди жили в уверенности, что государство внутри и снаружи окружено сонмом врагов. Предполагалось, что эти враги жадно ловят каждое, неосторожно оброненное слово, чтобы обратить его во вред стране. И враги, число которых, несмотря на истребительные меры, не уменьшалось, составляли предмет главных забот партийных и государственных инстанций; существовал подлинный культ врагов; уже недостаточно было содержать для борьбы с подрывной агентурой одну тайную полицию: на обширной территории рейха трудилось пять независимых друг от друга полиций и столько же контрразведок; они напоминали быстро размножающиеся предприятия в перспективной отрасли промышленности. Враги и враждебные элементы составляли подлинный смысл существования огромной массы государственных учреждений, и таким образом противодействие рейху, мнимое или действительное, в известном смысле было условием его существования.

Мистическая природа рейха сказывалась в том, что он управлялся законами, исходящими неизвестно откуда. Нет, не теми законами, которые торжественно объявлялись народу, записывались в золотые книги и высекались на мраморе, за которые полагалось денно и ночью благодарить правительство и партию; эти законы, может быть, и действовали в стране, но на жизни ее они не отражались. Для бесчисленных исполнительных органов основной и руководством служило другое. Таинственность частных толкований закона, инструкций, правил и особых предначертаний, именуемых установками, большей частью засекреченных, непреложных, как слово божье, хотя нередко противоречащих друг другу, заключалась в том, что сколько бы вы ни поднимались по лестнице управляющих инстанций, вы нигде не находили составителей этих законов, не находили инициаторов и творцов режима, партийные товарищи, как бы высоко они ни сидели, всегда лишь исполняли какой-то еще выше составленный завет, и, значит, все они несли равную ответственность за происходящее, или, что то же самое, никто ни за что не отвечал.

Высшая же таинственность рейха состояла в том, что весь он от вершин до подножия был пропитан мифом. Точнее, он сам представлял собой воплощенный в действительность, замкнутый в себе и всеобъемлющий миф. Этот миф был поистине универсален, ибо он обнимал все стороны жизни. Он содержал в себе последний и окончательный ответ на все вопросы. Огромное государство, возникшее, как феникс, в центре Европы на исходе первой трети двадцатого века, представляло собой мифическую нацию с мифологией вместо истории, с мифологической нравственностью и мифическим идеалом впереди; во всех своих отправлениях оно неизменно обнаруживало свою внереальную сущность. Народ, однако ж, принял ее за истину. Это произошло потому, что подлинная истина представлялась ему жуткой и бесприютной; стихия таинственности.

напротив, манила и согревала. Точно повредившийся в уме, он не сознавал своего помешательства. Разумеется, миф рейха, как и любого подобного ему государства, если судить о нем по трудам его теоретиков, по творениям его поэтов, по житиям святых, по школьным прописям, по словоизвержениям вождей, по любым экскретам национального самосознания, носил вполне бредовый характер. Это придавало ему ни с чем не сравнимое очарование. И развивался этот миф по хорошо известным законам бредообразования, и было бы поучительно проследить, как, миновав продуктивную стадию (то есть эпоху революционного переворота) и стадию систематизации, он приблизился к той ступени, на которой бред душевнобольного бледнеет и рассыпается, — к стадии распада психики. Но рейх не дожил до гибели своего мифа, режим не успел надоесть самому себе — и, может быть, поэтому остался навеки юным. Забили барабаны, птица феникс захлопала крыльями, — рейх, ощутивший neodолжимую потребность расширяться, начал войну. С новой силой ударила в бубны неслышанная по размаху и наглости пропаганда, и миф, как бы омытый грозой, ожил и заиграл всеми красками на солнце.

9.

"Бамм! Бамм! Бамм!.."

Двенадцать раз прогудел башенный колокол, потом что-то перевернулось в громадных часах, и куранты несколько монотонно и гнусаво начали вызывать гимн. Боже, убереги нашего короля, и нас, и наши нивы!

И наши квартиры. И наши клумбы с фонтанчиками. И наши счета в банке. И туман над нашим морем. И наших лысых министров. И...

Тогда раздвинулись кованые ворота со львами на столбах (один лев так и сидел без лапы). Часовой отдал честь кавалеристу на белой лошади древних кровей, чья родословная восходила ко времени славного Росинанта. Ее копыта, похожие на точеные основания шахматных фигур, четко зацокали по мостовой. Король божьей ми-

постью, в узких штанах, обшитых серебряным шнуром, в лазоревом мундире навсегда ушедшего в вечность лейб-эскадрона, почетным шефом которого он все еще числился, выехал на прогулку.

Сограждане с удовлетворением отметили восстановление стародавнего обычая. Слава Богу, король на лошади! Силуэт, знакомый с детства, оттиснутый на почтовых марках, выдавленный на шоколадных тортах, привычный образ, почти домашний, как этикетка на старой шляпе, воскрес и одним этим звонким цоканьем отогнал зловещее видение оккупации, видение серо-зеленых горшков, серых мышинных мундиров и морковных знамен. Король на лошади — значит все в порядке. Это они усвоили с детства.

Седрик пустил коня по улице, той самой, где полгода назад две подружки прятались в подъезде. Моросил дождик. Он выехал, поскрипывая седлом, на бульвар. Прохожие ухмылялись. На углу стук копыт примолк; потомок Росинанта, плеща пышным хвостом, пританцовывал задними ногами. Можно было не глядя сказать, что там происходило: король перегнулся через седло, чтобы пожать руку старому хранителю университетской библиотеки, как всегда, поджидавшему на углу *The King's Hour*\* Картинка, напечатанная в школьных хрестоматиях! Конь рысью пошел вдоль блестящих трамвайных рельс, а у библиотекаря произошел разговор с зеленым горшком, случайно очутившимся рядом. Немец с недоумением смотрел на удалявшегося всадника.

"Почему у него нет охраны?" — спросил немец.

Рефлекс, воспрещающий откликаться на звук тевтонской речи, как если бы никто в этой стране никогда не слышал ни одного немецкого слова, не сработал; старик влажными глазами провожал уменьшающийся конский круп. Когда лошадь исчезла за кленами бульвара, старик сказал:

\* Час короля.

"Видите ли, сударь..."

Он остановился, достал из кармана потрепанного пальто платок, такой большой, что он мог бы служить национальным флагом, осушил розовые мешочки под глазами, потом гулко высморкался и закончил свою мысль так:

"Видите ли, — а зачем его охранять?"

"Как зачем?" — сказал немец.

"В этом нет надобности", — сказал старик.

"Почему?"

"Потому что, видите ли, мы все его охраняем. Если он упадет, мы подбежим и поднимем его. Но, слава Богу, — сказал старик, — он старше меня на десять лет, а еще ни разу не падал".

"Да не об этом речь, — сказал немец с некоторым раздражением. Ему уже приходилось сталкиваться с этим странным слабоумием местных жителей. — Почему он без охраны, без телохранителей? Или как там это у вас называется".

"Виноват, — возразил библиотекарь, — от кого же его охранять?"

"От врагов!"

"Это легло бы слишком тяжелым бременем на бюджет, — заметил библиотекарь. Несколько осмелев, он взглянул выцветшими глазами на собеседника. — А ваш... руководитель, — спросил он, — бывает на улицах?"

"Фюрер не ездит верхом. Лошадь — устарелый способ передвижения".

"Но красивый", — сказал библиотекарь.

"К тому же, — продолжал солдат, — фюреру некогда".

"О да, — с готовностью подтвердил библиотекарь. — На автомобиле он мог бы доехать быстрее. Но, видите ли, важно знать, куда едешь".

Человек в зеленом шлеме в ответ на эти слова усмехнулся и сказал, что вождь немецкого народа и всего передового человечества знает, куда он едет. А вот куда едет король?

"Никуда, — ответил библиотекарь. Разговор принимал опасный характер. — Это традиция его семьи, — пояснил библиотекарь. — И отец его, и дед тоже, знаете ли, так катались".

Дождь накрапывал все сильнее, и на бульваре почти не осталось прохожих.

"В ваших словах, — произнес немец, — я усматриваю проявление неуважения к фюреру. Кто вы такой?"

"Что вы, — испугался старик, — что вы, mein Herr ! Я питаю к фюреру самые лучшие чувства. Он — великий человек. Мы все его обожаем".

Солдат перебил его: "Я полагаю, это происходит не от злого умысла, но от недостатка политической зрелости. Советую подумать над этим".

"Слушаюсь, mein Herr ", — сказал старик и на всякий случай сдернул с головы шляпу. Дождь не утихал. Старый хранитель взглянул на часы и увидел, что стрелки приблизились к часу — время, когда все королевство садится за ленч. Он снова приподнял шляпу.

"Всего хорошего, — презрительно отозвался немец, у которого шлем блестел и плечи с серо-голубыми полосками погон начинали темнеть от воды. — Впрочем, еще минутку, — сказал он. — Вы не могли бы показать мне Ваш Passierschein ?

"Простите?.."

"Пропуск на право передвижения по главной улице. Долг службы, — объяснил он. — Впрочем, чистая формальность".

"Но... у меня нет пропуска, — пролепетал библиотекарь. — Я даже не слышал об этом".

"О! — сказал немец. — Я удивлен. — Он действительно был удивлен. — Я удивлен и огорчен. Улица, по которой проезжает глава государства, есть правительственная магистраль. Я вынужден вас задержать".

"Но, сударь! — воскликнул в отчаянии библиотекарь. — У меня камни".

"Какие камни?"

"У меня камни в почках. Сам король меня лечил... У

меня жена. Господин офицер! Она сойдет с ума, если я не приду домой".

Солдат наклонил горшок в знак сочувствия. Потом вскинул подбородок. Они направились в ортскомендатуру, библиотекарь жался к стенам домов, хотя погода уже не имела для него никакого значения, а солдат шагал твердо, цокая подковками сапог, через пенные потоки, струившиеся из водосточных труб.

10.

Богиня счастья отвратила свой лик от Седрика. Итог решающей схватки был плачевен. Под радостный рев валторн из "Иуды Маккавея" заколыхались черные стяги; пришли в движение остатки все еще грозной неприятельской армии. Рослый ферзь, словно египетский фараон, мчащийся на колеснице, обогнал наступающие войска и с разбегу врезался в боевые порядки окруженной, отчаянно отбивающейся пехоты белых.

Один за другим пали телохранители короля. Тела их были унесены с поля боя, и вот настал момент, когда ничего другого не оставалось, как самому взяться за меч.

"Итак?.." — проговорил доктор Карус, намекая на последнюю возможность спасти честь, заключив перемирие.

Король уклонился от ответа. Отскочил в сторону. Тщетная попытка выиграть время. Издалека, с другого края дымящейся равнины, белый конь рванулся на помощь, поскакал кривым скоком на верную гибель. Унесли и его. С высоты своего длинного тела Седрик глазами удрученного Бога взирал на свой образ и подобие, на короля, еще ворочавшего мечом в углу доски; вокруг сопел тесный ряд смуглых ландскнехтов... Не слишком-то отважны были они в этом неравном бою, но один уже крался к заветной черте. "Осанна!" — воззвал ликующий хор, в ответ грянул великолепный оркестр лейпцигского Гевандхауза. Лазутчик превратил-

ся в маршала. А Седрик все еще белел в гуще битвы запачканным кровью плащом.

С мечом, вознесенным, как крест, рукоятью кверху, он стоял, прикрывая собой последние квадратики своей земли.

"Итак!" — вскричал доктор Карус.

И с последними тактами оратории Генделя король, последний солдат своего войска, закололся.

Игроки молча склонили над ним головы. Кристиан, наблюдавший за ходом событий из уютного кресла, почтил погибшего дымовым залпом.

(И еще много лет спустя этот вечер в октябре, почему-то выхваченный памятью из длинного ряда подобных ему вечеров, с люстрой, сиявшей лампочками в виде свечей, с молчаливой, точно заколдованной королевой, с черными шторами на окнах, много лет спустя этот вечер вспоминался Кристиану, которого конец войны застал в концентрационном лагере на острове Лангеланн, далеким и неправдоподобным видением счастья; как живой вставал перед ним отец, седой, очень высокий, с глубокими вертикальными морщинами на щеках, отец, который не любил его и посмеивался над его профессией, — чудаковатый монарх, занятый своей медицинской, он стоял над шахматной доской, вперившись в пустые клетки, как будто заново проигрывал в уме партию, потом, все еще глядя на доску, похвалил отличную запись.)

"Кстати, — сказал Седрик, — он ведь, кажется, разрушен?"

Он имел в виду концертный зал Гевандхауз, где в молодости приходилось ему бывать в обществе дяди, кронпринца Гуго. (Ни Гуго, ни тети Оттилии, разумеется, уже не было на свете, немецкие кухни доживали свой век кто где.)

Коллега Карус в ответ на эти слова заметил, что налеты английской авиации стали совершаться с периодичностью, которую нельзя назвать иначе как фатальной.

На что толстяк Кристиан возразил, что фатум, собст-

венно говоря, есть не что иное, как метафизический парафраз высшей справедливости.

Идея рока безрассудна, но при ближайшем рассмотрении оказывается детищем оптимистического рационализма.

"Я что-то не понял,— отозвался король, расставляя фигуры.— Не будет ли профессор столь любезен дать научное определение этому понятию?"

"Какому?" — спросил Кристиан.

"Высшей справедливости, *bien sùr*"\*

Кристиан пристроил сигару в уголке шахматного столика, извлек из кармана домашней куртки *cardnet*\*\* и перелистал странички, исписанные бисерным почерком. Такой почерк всегда бывает у людей с хорошим пищеварением и ясным, незамутненным взглядом на мир. Ибо мир этих людей есть мир гармонический.

(Спустя десять месяцев эта книжка была отобрана у Кристиана при обыске в санпропускнике, в числе других предметов, при этом ему велели снять одежду, нагнуть-ся и раздвинуть ягодицы.)

Итак, Кристиан отложил сигару и обвел сияющим взором отца, мать и доктора. "Вот", — сказал Кристиан.

Он прочел:

"Справедливость — и несправедливость зависят не токмо от природы людей, но от природы божьей. Исходить же из божественной природы значит основываться отнюдь не на произвольных посылках. Ибо! (Кристиан поднял палец.) Ибо природа Бога всегда покоится на разуме".

Королева считала петли. Доктор Карус оком полководца озирает шахматную доску.

Король промолвил:

"Неплохо сказано. Кто это?"

"Лейбниц", — сказал Кристиан и, закинув ногу за ногу, величественно выпустил дым.

\*Чему же еще.

\*\* Записную книжку.

"Что ж, — заметил Седрик, — ему это простительно".

Доктор сделал первый ход: теперь белыми играл он.

"Так", — сказал Седрик. Вдали слабо запел рожок. На мгновение король закрыл глаза. Простер руку над строем войск — медленным провиденциальным жестом.

И под звуки рожка черные, издав боевой клич, ринулись на врага.

11.

В ноябре по случаю Дня независимости король выступил с традиционной речью по радио. Нужно признать, что она была не самым удачным из его выступлений. Это почувствовали все граждане, но кто на его месте поступил бы иначе? Радиовещание контролировалось оккупационными властями, точнее, полностью находилось в их руках, в комнате, соседней со студией, сидел техник, готовый при необходимости прервать передачу по техническим причинам, а рядом с Седриком за пультом находился некто в штатском, который помогал королю переворачивать страницы.

Речь была посвящена инциденту на железнодорожном вокзале. Упомянув об этом, мы отнюдь не хотим сказать, что этот инцидент каким-либо образом повлиял на международную обстановку. Ничто из происшедшего в маленькой стране — читатель должен был понять это с самого начала — решительно не могло оказать влияние на ход мировых событий. Это в равной мере относилось и к мелким недоразумениям, время от времени омрачавшим мирное соитие завоевателя с покоренной страной, и к тому беспрецедентному нарушению порядка, о котором нам еще предстоит рассказать позднее. Итак, случай, происшедший на вокзале, был едва упомянут газетами, да и в речи короля о нем говорилось достаточно глухо. Дело в том, что здесь была совершена ошибка. Не было ровно никакой необходимости в публичной акции, не надо было устраивать никаких митингов, а надо было просто сообщить о митинге; сочинив ре-

портаж и подобающие речи; вместо этого пошли на поводу у дурацких обычаев страны, где привыкли все видеть своими глазами, страны, где премьер-министр ездил на заседания кабинета в трамвае, где король катался по улицам на лошади, где не имели никакого представления о государственном престиже. И вот результат! В честь стрелков добровольческой роты, не без значительных усилий сформированной для отправки на фронт в Россию, на вокзальной площади были устроены торжественные проводы. На митинге собирался выступить военный министр. В новых шинелях и плоских блинообразных беретах с двухцветной, синей с зеленым, национальной кокардой солдаты выстроились на мостовой, напротив входа в зал для продажи билетов; несколько в стороне на тротуаре стоял народ. Ни с того ни с сего в этой толпе произошло движение: как передавали, там неожиданно начались родовые схватки у какой-то добровольческой жены. По другим данным, там задавили собаку. Так или иначе, но министр не успел раскрыть рта, а немецкий капитан, стоявший рядом, не успел дать знак полиции, как толпа слушателей шарахнулась, кордон полицейских, впрочем довольно малочисленный, был оттеснен, и в течение последующих десяти минут неизвестные, в количестве примерно тридцати человек, храня молчание и даже относительный порядок, избили добровольцев, испачкали обмундирование и сорвали с них национальные блины, после чего также молча и таинственно рассеялись. Не останавливаясь на этих подробностях, выяснением которых вот уже целую неделю были заняты компетентные инстанции, король нашел лишь необходимым обратиться с увещанием к народу, прежде всего к молодежи, призывая ее воздерживаться от действий, могущих осложнить отношения с оккупационным режимом.

Еще была неприятность с уличным хулиганом, неким Хенриком Седриксоном, восьми с половиной лет. В четверг 9 ноября этот мальчик подошел к воротам ортскоментатуры и плюнул в часового, причем попал ему в

пряжку. Это произошло днем на глазах у прохожих и возвращавшихся с уроков детей, и инцидент получил огласку. Король призвал родителей и педагогов уделять больше внимания искоренению дурных манер у подрастающего поколения. Похороны мальчика были приняты на государственный счет. В заключение своей речи его величество обратился к Богу, прося его о спасении страны и народа.

Вообще следует сказать, что поддержание дисциплины в столице и за ее пределами натолкнулось на одну непредвиденную трудность: в стране не удавалось наладить обычную для всего рейха систему сыска. Трудность, собственно, состояла в том, что не удавалось привить населению этой страны мысль о естественности и необходимости доносов. Люди не понимали — или притворялись, что не понимают, — чего от них требуют. И все же в общем и целом оккупационный режим, это тоже надо отметить, оказался мягче, чем можно было ожидать. Победитель щадил маленькую страну, словно в самом деле питал уважение к ее очевидной беспомощности. Возможно, сыграло роль и то, что этническая принадлежность этого народа к германскому племени давала ему право, с известными оговорками, считаться арийским. Разумеется, и в этой стране повсеместно был установлен комендантский час, действовали карточная система, трудовая повинность, паспортизация, прописка, "кружка победы", ежегодная подписка на заем, запрещение самовольного ухода с промышленных предприятий, запрещение свободного передвижения по стране, безусловное запрещение выезда за ее пределы, хотя бы и к родственникам, хотя бы и к детям, хотя бы и к мужу, к жене; были упразднены все намеки на политическую деятельность, была установлена цензура на все, что выходит из-под печатного станка — от телефонных книг до объявлений в брачной газете, от романов до трамвайных билетов — и талонов на керосин. Разумеется, ни одно публичное выступление, включая проповеди в церквях, не обходилось без выражений горячей благо-

дарности имперскому вождю, этому отцу народов и лучшему из людей. Разумеется, английская блокада, распространявшаяся на все территории, подвластные рейху, не сделала исключения для маленькой страны, и, например, по улицам столицы двигались автобусы, запряженные лошадьми, ввиду отсутствия бензина. Но достаточно было сравнить положение в стране хотя бы с участью северного соседа, чтобы понять, насколько судьба была милостива к этому патриархальному краю. Жизнь продолжалась с ее обычными заботами, радостями и печалью, и погода стояла обычная для этих мест: как тысячу лет назад, туман висел над морем древних викингов; в предутренней мгле, точно призраки, маячили на перекрестках продрогшие полисмены в серебристых от измороси плащах, обыватели просыпались на рассвете в своих спальнях за черными шторами, под веточкой багульника, женщины зачинали в сонных утренних объятиях, это была весьма сносная жизнь, без ночных облав, без заложников, даже без отправления людей в Германию, уходили только бесконечные эшелоны с продовольствием: рейх нуждался в колбасе, маргарине, мороженой рыбе, картофеле, беконе — все же остальное: колокольни соборов, памятники морским разбойникам, ключья тумана, герб, сплетенный из волос русалки, даже опереточный страж у ворот дворца — представлялось несъедобным и до поры до времени не привлекало внимания вечно голодного победителя. Утверждали, что в стране нет ни одного концлагеря. Дети брели в школу, волоча старые отцовские портфели с тетрадками из серой и очень тонкой бумаги. Хозяйки стояли в очередях и не роптали.

В канун рождества, когда по улицам от дома к дому ходили пожилые серьезные господа в котелках, несли на палках деву Марию, волхвов и мулов, фюрер в речи, переданной из Нюрнберга, вновь осчастливил крошечную нацию: она была названа "образцовым протекторатом". По этому поводу газеты разразились ликующими передовицами. За этим последовал новый, столь же

многозначительный жест — поздравительная телеграмма по случаю семидесятилетия короля. В этот день разрешено было развесить на улицах штандарты с буквой С и римской цифрой Х, а рядом, само собой, развевались морковно-красные флаги победителей.

Начался зимний семестр в университете. После десятимесячного перерыва Седрик возобновил в нем свой курс. Он продолжал работу по обобщению материалов об отдаленных результатах лечения рака предстательной железы, но конгресс в Исландии был снова отложен.

12.

В промозглую весеннюю ночь, густым туманом окутавшую Остров, королю приснился сон. Ему приснилось, что огонек ночника потух, и, открыв глаза, он пытается сообразить, где он, пока наконец глаза не привыкают к мраку, и он видит перед собой два высоких, выступающих в темноте окна спальни.

Сон этот был явно дурной, непонятный и ничем, по видимому, не спровоцированный, и опять-таки мы упоминаем о нем вовсе не потому, что хотели бы приписать ему какое-нибудь символическое значение; пожалуй, в нем сказалась невысказанная тревога тех дней, глухое нечто, вползавшее через щели и дымоходы с лохмотьями тумана, — и только.

Открыв глаза, Седрик увидел, что черные шторы затмения закатаны чьей-то рукой кверху и во тьме перед ним выставились два окна — совершенно пустые. Но что-то мешало ему разглядеть предметы в комнате и даже мебель. Что-то зыбкое окружало кровать, скрыло пол, и в этой массе тонули внизу окна. Вглядевшись, он понял, что вся комната заросла водорослями.

Недовольный и даже огорченный, он встал и нащупал ночные туфли — они оказались полны ила, — и в туманной зеленоватой воде стал пробираться к выходу, стараясь не поднимать шума. Ему удалось выбраться в залу, никого не разбудив, а потом и на галерею, и

он начал спускаться по лестнице, крепко держась за перила, чтобы не поскользнуться. Это была историческая лестница, известная тем, что на ней, на ее ступеньках, умер его дедушка Седрик IX — вышел утром из спальни и вдруг сел и умер. Внизу Седрика ожидал сюрприз. Когда он шел по бельэтажу, волоча мокрые туфли, и по привычке оборачивался на зеркала, приглаживая на голове ежик, то вдруг оказалось, что в зеркалах никого нет: кто-то двигался, кто-то шелестел в полутьме туфлями по эту сторону зеркал, но ничего не отразилось в их тусклой бесконечности, они остались пусты, и по тому, как он спокойно отнесся к этому, Седрик понял, что и он умер, умер в самом деле, или, как принято выражаться о королях, почил в бозе. Что было, в общем, не удивительно в его возрасте.

Очевидно, об этом еще никто не знал. Седрик пожалел Амалию и пожалел государственный бюджет, на который в эти трудные времена свалилось неожиданное бремя — катафалк, лошади и прочее. Но формальности уже не имели для него значения, вот только медицинского заключения он не мог избежать, уважая хотя бы профессиональную этику. Проще говоря, предстояло вскрытие, и скрепя сердце он поплелся в тех же домашних шлепанцах и в халате со следами морской травы в морг, досадуя на себя за то, что не успел привести себя в порядок перед неприятной, но необходимой процедурой.

Он лежал на мраморном столе в зале со стенами из кафеля. Ровный свет струился из невидимых источников, лежать на мраморе было очень холодно, и он попытался натянуть сползшее одеяло, но тут же вспомнил, что никакого одеяла нет и быть не может, потому что он мертв и лежит в прозекторской университетских клиник, в хорошо знакомом ему секционном зале, и какое счастье, что вокруг него не было студентов; уже слышны были шаги служителя, шорох его клеенчатого передника и звяканье эмалированных лотков. Затем чьи-то руки подхватили его под мышки, рывком подтянули к

себе, — под головой у Седрика оказалась деревянная подставка. В это время дверь открылась, и вошел г-н Люне, прозектор.

Прозектор встал на пороге, в пустой дверной раме, и лишь теперь стало ясно, кто он такой: в белой одежде, с парусами накрахмаленных крыльев за спиной, он держал перед собой двумя руками, как крест, длинный блестящий меч. Ангел смерти шагнул к столу и одним взмахом рассек тело Седрика, расщепил его от подбородка до лобка. Производя исследование, г-н Люне шевелил губами. Слов не было слышно, по-видимому, он диктовал протокол. Слава Богу, они не стали распиливать череп: прозектор полагал, что ничего существенного там не найдет. Он диктовал, а Седрик сгорал от любопытства, тщился прочесть его слова по движениям губ, следя за прозектором из-под полуопущенных век, но ничего не понял. Вскрытие кончилось, и, понимая, что через минуту его унесут и он никогда уже не сможет изложить свои доводы, Седрик напряг все силы, пытаясь встать: он хотел оправдаться перед прозектором, объяснить ему, на каком основании был поставлен ошибочный диагноз; объясниться было необыкновенно важно; прозектор уже направился к дверям. С невероятным усилием Седрик пошевелил губами, но язык оцепенел, воздух застрял в груди, руки не слушались его, прозектор уходил, Седрик тянулся к нему... беззвучный, безголосый хрип выдавился из глубин его существа, как это бывает во сне, и, поняв, что это сон, услышав свой хрип, он проснулся.

Он проснулся в липком поту, ночник горел перед ним; он выпил воды и упал на подушки, измученный пережитым и обессиленный до полного изнеможения, но заснуть снова ему не дали: впереди была дорога; задувал ветерок, было зябко, как перед дождем, надо было поторапливаться. Все небо обложила глубокая, дымно-лиловая туча. Лишь на горизонте не то светился закат, не то тлели пожары. С мешком за спиной, уныло стуча палкой, он шел по дороге, и ветер доносил запах обуг-

ленного дерева: где-то горели леса; мало-помалу Седрика стали обгонять другие путники; дорога сделалась шире, вдали показался забор, в заборе ворота.

Огромная толпа с мешками, с корзинами, с перевязанными бечевкой чемоданами осаждала ворота, и было видно, как охранники били людей прикладами автоматов, стараясь восстановить порядок. С вышки на это столпотворение равнодушно взирал часовой, топал затекшими ногами по дощатому помосту и пел песню, вернее, разевал рот, а слов не было слышно. То и дело лязгал засов, ворота на минуту приотворялись ровно настолько, чтобы пропустить одного человека. Ясно было, что ждать придется долго. У ворот маячила высокая светлая фигура св.Петра.

Вместе с толпой Седрик медленно подвигался вперед. Сзади толкали. Стражник у входа листал захватанный список. Все это тянулось невероятно долго. Наконец подошла его очередь. Апостол не торопил его, с презрительным терпением наблюдал, как Седрик развязывал мешок. В мешке были свалены органы — ужасное липкое месиво. Дождь накрапывал, толпа нажимала сзади, загораживая свет; дрожащими руками он стал вытаскивать почки, сердце, желудок, вынул и показал большую скользкую печень. Все было сильно попорчено господином Люне.

Петр мельком взглянул на органы, поморщился и махнул рукой; Седрик принялся торопливо запихивать все обратно. У него было тяжелое чувство, что он не сумел угодить. Такое чувство испытывает человек, у которого не в порядке документы. Но что именно не в порядке, он не знал. Предстояли еще какие-то формальности. Толпа сзади бурно выражала нетерпение, а он все еще собирал свое имущество; органы были липкими, он перепачкал руки и вытирал их о мешковину. Из толпы неслась брань. Никому из них не приходило в голову, что каждого ждет такая же участь. Апостол хмурился. Седрик задерживал очередь. Вдруг раздался оглушительный треск мотоциклов. Толпа шарашнулась в

сторону, и большой черный автомобиль подкатил к воротам, окруженный эскортом мотоциклистов.

Выражение отчужденности исчезло с лица апостола Петра, он приосанился, приняв какой-то даже чрезмерно деловой вид; стражники, молча дирижируя толпой, оттеснили всех подальше; ворота распахнулись. Стражники взяли под козырек. Седрик стоял в толпе, испытывая общие с нею чувства — сострадание, любопытство и благоговейный страх. Медленно пронесли к воротам гроб; мимо сотен глаз проплыли кружева газета, проплыл лакированный черный козырек фуражки и под ним туплеобразный крупный нос с усами, растущими как бы из ноздрей. Усы были крашеные. Седрик узнал человека, лежащего в гробу. Толпа, объятая священным ужасом, провожала взглядом гроб; на минуту она как будто прониклась уважением к себе, раз и он здесь. Гроб исчез в воротах, и створы со скрежетом сдвинулись; громыхнул засов. Тотчас все, словно опомнившись, бросились к воротам. Произошла давка, и те, кто раньше стоял впереди, оказались сзади.

С вышки послышалась песня часового, кажется, это был какой-то духовный гимн; очередь шла, апостол был занят: люди торопливо развязывали мешки, показывали содержимое корзин, один за другим проходили в ворота. О Седрике же как будто забыли: привратник не замечал его. Он протолкался к воротам. "Черт знает что такое, — проворчал Петр и, обернувшись, сказал: — Да отойдите вы, ради Бога. Мешаете работать". — "Это производ, — возразил Седрик, — исходить из природы божьей значит основываться не на произвольных посылках". — "Кто тебе это сказал?" — грубо бросил апостол Петр и отвернулся. Очередь все шла и шла мимо него.

"Я буду жаловаться", — сказал Седрик упрямо.  
"Кому?" — спросил брезгливый голос.

"Королю", — сказал Седрик, забыв, что он и есть король. Впрочем, к лучшему: в толпе его подняли бы на смех, а может быть, и избили бы, вздумай он заикнуться об этом. Внезапная мысль осенила его, и он спросил, по-

казывая на расщелину ворот: "А он? Почему его пропустили?"

"Он — это он", — буркнул голос.

"Но ведь он... вы понимаете, кто это?" — в отчаянии крикнул Седрик.

"Надо быть самим собой, — был ответ. — А ты — ни то ни се. — Говоря это, апостол жестом подзывал стражника. — Убрать, — приказал он коротко. — Под домашний арест".

Слова застряли в горле у короля, но на него уже не обращали внимания. Сзади нажала многоголосая, тяжело дышащая толпа, послышались крики раздавленных. Пламя вспыхнуло за забором. Затрещали доски... Вдруг стало ясно, что деваться некуда и нет спасения.

Таков был этот сон, о котором король поведал Амалии, каковое обстоятельство и сделал возможным для автора настоящих строк упомянуть о нем на страницах своей хроники. Повторяем, мы не склонны разделять мнение ее величества (см. ее "Мемуары") о том, будто странное это сновидение могло иметь влияние на судьбу короля или как-либо отразиться на его политической позиции. Было бы нелепо предполагать, что человек трезвый и реалистически мыслящий, каким был Седрик X, мог испытать душевный переворот под впечатлением ничего не значащего ночного кошмара. Вместе с тем мы понимаем, что смерть Седрика, последовавшая относительно скоро (примерно через полгода), ретроспективно могла дать повод ко всякого рода суеверным сближениям. Как известно, этот монарх был расстрелян по приговору имперского трибунала в связи с происшествием, о котором нам предстоит рассказать ниже. Королева Амалия, некоторое время содержавшаяся в неизвестном "секторе Е" женского лагеря Равенсбрюк, осталась в живых и здравствует по сей день: в нынешнем году ей исполняется 94 года. Быть может, психоаналитическая интерпретация упомянутого сна, если он заинтересует специалистов, способна пролить дополнительный свет на личность Седрика X; мы же привели его

единственно с целью охарактеризовать общее настроение тревоги, по-видимому, владевшее королем даже в относительно спокойное время, когда ничто, казалось, не предвещало близкого поворота событий.

13.

Итак, подытоживая сказанное в предыдущих параграфах, можно утверждать, что весной 1942 года в стране наступила относительная стабилизация. Восстановилась будничная, размеренная, почти спокойная жизнь. Абсурд способен "вписаться" в реальную жизнь, где его присутствие оказывается как бы узаконенным, подобно тому как бред и фантастика в мозгу умалишенного уживаются с остатками реализма, достаточными для того, чтобы позволить больному кое-как существовать в среде здоровых. Специалистам известен замечательный феномен с и м у л я ц и и з д о р о в ь я у больных шизофренией. Но нет-нет, и внезапная эскапада выдаст пациента и сорвет завесу, за которой скрывается сюрреалистический кошмар его души. Тогда оказывается, что тени, пляшущие там, — порождение пустоты... Пронизывающим холодом веет из этого ничто, из погреба души, над которым в опасной непрочности воздвигнуто здание рассудка; и тянет заглянуть в этот подвал, где живут только тени...

Тенью, вышедшей из царства абсурда, показался Седрику странный визитер, о прибытии которого с подозрительной многозначительностью возвестил секретарь. В этот час венценосец сидел в кабинете, как обычно, просматривая текущие дела. **SIDERICUS REX** — длинными и узкими, как он сам, полупечатными буквами на старинный манер выводил он под бумагами, теперь уже явно потерявшими смысл, с тем же успехом он мог бы расписываться на листках отрывного календаря. Однако, как уже говорилось, внешние контуры жизни в эту полосу затишья вновь обрели устойчивость, и как будто после наводнения старую мебель, сильно попорченную, но высохшую на солнце, расставили на старые места, и

старые часы, кряхтя и постукивая маятником, вновь пошли с того места, на котором застала их катастрофа, — король ежеутренне выслушивал доклад, визировал документы, принимал просителей...

Человек этот, с нарочито нейтральной фамилией, с невыразительной внешностью, так что через пять минут после его ухода король не мог припомнить его лицо, человек неопределенной национальности, то ли натурализованный немец, то ли соотечественник, долго живший за границей, — сослался на дело, не терпящее отлагательства, одновременно личное и государственное, и потребовал аудиенции с глазу на глаз.

Выходя из кабинета, секретарь обнаружил в приемной незнакомых молодых людей, неизвестно как оказавшихся здесь, они были в костюмах разных оттенков, но одного покроя, подобно маркам из одной и той же серии; в коридоре тоже прохаживались неизвестные лица; персонал дворца куда-то исчез, в рабочую комнату войти было невозможно, и вообще в эту минуту секретарь его величества явственно ощутил присутствие в окружающем мире чего-то потустороннего.

В это время в кабинете шел вежливый, очень тихий и очень странный разговор.

"Прошу, — Седрик указал на кресло. — Чем могу служить?"

"Государь, — отвечал гость, — первая услуга, которую вы окажете нам, — сохранение в безусловной тайне всего, что здесь будет сказано. И всего, что последует за этим".

"Что вы имеете в виду?" — слегка подняв брови, спросил король. Он напомнил посетителю, что в его распоряжении имеется всего десять минут. "О! — отозвался тот. — Я отлично понимаю, что ваше величество перегружены делами".

"Да, — ответил Седрик. — Я занят".

"Итак?" — сказал гость.

"Что — итак?" — не понял Седрик.

Он снова напомнил г-ну Шульцу, что в приемной ждут

другие посетители. Не угодно ли ему будет перейти к сути дела.

"Не извольте беспокоиться, — улыбнулся гость, очевидно, сознательно пародируя старомодную формулу вежливости. — Я отослал всех".

"Что?" — спросил Седрик.

Вместо ответа человек беспечно попросил разрешения закурить.

Это было нарушением этикета, настолько неожиданным у столь благовоспитанного визитера, но уже через минуту Седрик заметил любопытную метаморфозу, которая происходила с гостем: точно сцену с актером осветил новым светом боковой луч. Безупречный туалет г-на Шульца, его жидкие, слегка волнистые зеленоватые волосы, тускло блеснувшие, когда он выстрелил из крохотного стального пистолета перед кончиком сигареты, — все это осталось прежним, но и как будто переменялось, и глаза, медленно поднявшиеся на Седрика, принадлежали другому человеку. Перед королем сидел гангстер, похожий на рисунки в романах, которые продаются на вокзалах, — так сказать, дежурный гангстер. Что ж, это упрощало обстановку.

Вытянув длинные ноги под столом и скрестив руки, Седрик ждал, что последует за этим перевоплощением.

"Итак, — сказал Шульц, — вы обязуетесь сохранить в секрете наш разговор".

"Смотря о чем мы будем разговаривать", — заметил король.

"Предмет нашей беседы, — сказал Шульц с некоторой торжественностью, — есть дело сугубой государственной тайны".

"Гм. Видите ли, содержание этого понятия толкуется в Германии иначе, чем в других государствах. Что касается моей страны, то у нас не принято скрывать от нации что-либо затрагивающее ее интересы".

"Пусть так, — сказал гость. — Но врачебная тайна в вашей стране соблюдается?"

"Конечно. Но причем тут врачебная тайна?"

"А притом, что вопрос, интересующий моего поручителя, носит, так сказать... медицинский характер. Вот что, профессор, — неожиданно сказал Шульц и швырнул сигарету в угол, где стояла корзина для бумаг. Седрик с любопытством проследил за ее полетом. — Оставим эту дипломатию. Речь идет о больном, которому вы должны помочь".

"По этим вопросам, — произнес король, — прошу ко мне в клинику. Я принимаю по пятницам от двух до..." — и он потянулся к блокноту с гербом на крышке, чтобы записать фамилию пациента.

Г-н Шульц вынул пистолет и вставил в рот вторую сигарету. При этом блеснули его стальные зубы.

"К сожалению... — проговорил он сквозь зубы. Щелкнул курок, но пистолет дал осечку. Очевидно, бензин был на исходе. — К сожалению, больной не имеет возможности посетить вас в клинике. Потому, — Шульц выстрелил, — вам придется посетить его. Впрочем, мой поручитель готов пойти вам навстречу — точнее, выехать. Свидание можно устроить где-нибудь на границе".

"А кто он такой?" — спросил Седрик.

"Вашему величеству угодно задать вопрос, на который я не уполномочен ответить. Впрочем, могу сказать, что это самый высокопоставленный, самый великий и самый гениальный человек, с которым вам как врачу когда-либо приходилось иметь дело".

"Вы уверены, — спросил Седрик, — что этому самому великому человеку нужен именно я? Я уролог".

"Вот именно, — ответил гость, заволакиваясь дымом. — Ему нужны именно вы".

"Разве в Германии нет специалистов?"

"Есть. Но они не оказались на должной высоте. К тому же, — он развел руками, это было слабым подобием реверанса, — к тому же репутация вашего величества как специалиста... Поверьте, — заключил г-н Шульц, пристально глядя в глаза собеседнику и понижая голос, — мы в Германии умеем ценить выдающихся ученых независимо от...".

"Независимо от чего?"

"Ну, — гость пожал плечами, — хотя бы... от международной обстановки".

"Так, — сказал король. — Может быть, вы ознакомите меня с историей болезни? Разумеется, в общих чертах".

"Разумеется, разумеется, — подхватил Шульц. — Все непременно и обязательно. Вам будет представлена вся документация. Во время осмотра".

"Так", — промолвил Седрик. И опять, подумал он, судьба задает ему вопрос, на который он волен ответить отказом. Какое это было бы наслаждение — выгнать вон это ничтожество, спустить его с лестницы! Выскобленный до неестественной гладкости фиолетовый подбородок короля сам собой вознесся кверху, и глаза утратили всякое выражение. В эту минуту он был похож на старого, костлявого и непреклонного зверя — пожалуй, на своего геральдического льва.

Несколько мгновений прошло в обоюдном молчании. Лев закашлялся.

"Перестаньте курить", — прорычал он.

Шульц покосился на собеседника, скомкал сигарету, пробормотал: "Excuse" ...\* — и стал смотреть в окно, казавшееся матовым от густой завесы тумана.

В непостижимой дали смутно угадывалась башня с часами, она точно парила над клубящейся бездной, и едва заметно золотился ободок циферблата.

Шульц сказал:

"Я бы не советовал упрячиться. Поймите, мы обращаемся к вам как к частному лицу. Я подчеркиваю: как к частному лицу".

Король молчал. Странное дело, но на минуту — не больше — почувствовалось вдруг, что их что-то объединяет. Казалось, помолчи он так еще немного — и гость начнет умолять его сжалиться над ним. Их объединял общий страх.

\*Извините.

Г-н Шульц выдержал паузу, затем поднялся и произнес — торжественно, выделяя каждое слово:

"Благодарю вас, ваше величество. От имени имперского правительства, руководства нашей партии и от имени всего германского народа — примите мою сердечную признательность".

14.

Свидание состоялось во второй половине апреля (по некоторым данным, в последних числах). Автор не считает себя вправе умолчать о нем, тем более что в западной историографии этот факт не получил освещения. Достаточно сказать, что в шеститомном "Жизнеописании Адольфа Гитлера" профессора Карла фон Рубинштейна о нем нет никаких упоминаний. Вряд ли архивные изыскания последних лет приведут к открытию документов, проливающих свет на эту историю. Можно предполагать, что таких документов не существует.

Таким образом, учитывая скудость информации, наше сообщение приобретает определенный научный интерес.

Мы уже имели случай сослаться на записки г-жи королевы. Пожалуй, это единственный, заслуживающий внимания источник, в котором имеется упоминание о поездке Седрика на уединенную загородную виллу. Будучи крайне лаконичным, оно отягощено домыслами в духе скандинавского мистицизма (Амалия пишет о свидании с "князем тьмы") и как будто имеет целью намекнуть на особый таинственный смысл этой встречи, якобы предрешившей дальнейшие события. Естественно, мы не можем вдаваться в обсуждение подобных вопросов. Представляется вполне очевидным, что встреча была лишена какого бы то ни было политического значения; читателю будет нетрудно убедиться в этом. Речь идет о любопытном и малоизвестном эпизоде, но не более.

Точно так же следует опровергнуть слухи, одно время распространявшиеся, будто король, воспользовав-

шись этим рандеву, просил не применять к его стране некоторых санкций репрессивного характера, в частности возражал против проведения так называемой акции "Пророк Самуил", разработанной Четвертым управлением Главного имперского управления безопасности, по крайней мере, на полгода позже. Здесь очевидным образом сказывается влияние той самой ретроспекции, на которую мы указали, когда описывали пасхальный сон Седрика. К тому же приватный характер встречи исключал возможность обсуждения государственных вопросов. Фактически там не была затронута ни одна проблема за пределами специальной цели, которую преследовала встреча. Стороны вели себя так, как если бы они вообще не имели никакого касательства к государственным делам.

Более того: стороны делали вид, будто они и представления не имеют, кто они такие на самом деле. Если позволено будет воспользоваться рискованным сравнением, они вели себя подобно тайным любовникам, которые ночью сочетались в мучительной страсти, а на другой день, не подавая виду, спокойно и отчужденно беседуют о делах. Обе стороны точно сговорились не замечать глухой таинственности, которую было окружено их свидание; и то, что вся местность на сто километров вокруг была прочесана патрулями, пронюхана собаками, просмотрена с самолетов, что специальные войска были приведены в боевую готовность на тот случай — абсолютно невозможный, — если бы кто-нибудь вздумал нарушить их уединение, — все это и многое другое точно не имело никакого отношения: они как бы и не подозревали об этих чрезвычайных мерах. Словом, это была встреча больного с врачом — и только.

Газеты поместили краткое сообщение о том, что король покинул на несколько дней столицу для непродолжительного отдыха на лоне природы. Так оно, в сущности, и было. Вилла "Амалия" — крохотный островерхий домик, расположенный в прелестном уголке, в тридцати километрах от границы. Вокруг — холмы, поросшие

буком. Это самое сердце малонаселенного лесного края, раскинувшегося к северу от линии Бременер Оке — Люнебург -- Фрауэнау.

Седрик приехал на виллу в закрытом автомобиле, в сопровождении неизвестных лиц, именуемых "представителями"; один из этих людей сидел с шофером, двое других — по обе стороны от профессора, одетого в скромное дорожное платье.

Пациент прибыл неизвестно каким способом и неизвестно откуда.

Пациент вошел в небольшую гостиную, переоборудованную под смотровой кабинет — письменный стол, ширма, кушетка, столик для инструментов. Посредине стояло высокое, сверкающее никелированными подколениками кресло.

Снедаемый любопытством (совершенно неуместным), Седрик не спускал глаз с двери — пациент медлил, но когда он наконец появился, то, как и следовало ожидать, совершенно разочаровал профессора; мы сказали: "следовало ожидать", ибо едва ли нужно объяснять читателю, что тот, кто вошел в кабинет, был лишь телом, далеким от совершенства, как все земное, тогда как великий демон, обитавший в нем, демон могущества и всеведения, обретался где-то очень далеко, на недостижимых вершинах. И лишь время от времени это тело, облаченное в мундир, должно было позировать перед миром, дабы мир знал, что демон, владычествующий над ним, — не призрак.

Воздержимся от описания внешности этого человека, предполагая ее хорошо известной; тем более что это был тот случай, когда, перефразируя древнее изречение, можно было сказать, что важен не сам предмет — в данном случае человек, — а впечатление, которое он оставляет. Вошедший производил впечатление самозванца. Причем самозванца накануне своего разоблачения. Дело не в том, что лицо его с крупным угреватым носом, воспроизводившим очертания дамской туфли, и с небольшими, крашеными, как бы растущими из ноздрей уса-

ми — знаменитыми усами, вошедшими в историю подобно габсбургской губе, — показалось Седрику одновременно и незнакомым, и знакомым, и, пожалуй, даже более располагающим в своей обыденной заурядности; в памяти Седрика как бы сама собой ожила старая и давно развенчанная легенда, будто прославленный диктатор есть не что иное, как круг заместителей, по очереди выступающих под его именем, — так сказать, род коллективного псевдонима.

Не то чтобы в нем сквозило что-то наигранное. Распространенное мнение об "актере", о фокуснике-иллюзионисте, по крайней мере здесь, на уединенной вилле, никак себя не оправдало. Речь идет о другом: о том, что невозможно было отделаться от впечатления, будто перед нами — двойник или заместитель. Ничто в его облике не отвечало представлению о демоническом властелине, о гении зла.

Если уж попытаться позитивно охарактеризовать наружность пациента, какую она представилась восседавшему у окна Седрику, то это был директор треста, человек бывалый, выходец из народа, не из тех, кто начал университеты, а из тех, кто своим горбом пробил себе дорогу в жизни, из каких-нибудь счетоводов-письмоводителей; человек-практик, знающий жизнь и, должно быть, немало встревоженный неожиданным вызовом к высшему начальству по какому-то щекотливому делу. То, что у этого человека должно было существовать начальство, и притом очень строгое, не вызывало сомнений.

Человек этот был прекрасно одет и спрыснут духами, чуть заметно лысел и слегка тряс щеками — словом, лишь самую малость был тронут старостью; губы его с какой-то скорбной предупредительностью были сложены почти вровень с каштановыми усиками, о которых мы уже упоминали. Под мышкой вошедший держал папку — как бы с бумагами для доклада ( в действительности это были рентгеновские снимки и анализы). Закрыв дверь, пациент — каблук вместе, под

рукой папка — поклонился сдержанно-подобострастным поклоном.

При этом он не смог удержаться, чтобы не метнуть молниеносный взгляд вправо и влево. Он даже успел скосить взор под стол, на ноги Седрика. Быстро оглядел окно, застекленное пуленепроницаемым и разрывающим предметы стеклом.

Профессор пригласил пациента к столу.

Оба как-то легко и без насилия освоились с этими ролями. Пациент приблизился, слегка виляя задом и всем своим видом демонстрируя почтительный трепет — это было почтение профана к медицинской знаменитости и дань уважения одного делового человека другому. Опасливо сел, уложил папку на колени. Робко присосанился. Седрик, величественный, как судья, сурово воззрился на него из-под косматых бровей.

Седрик принял папку с анализами. Пронзительно поглядывая на пациента, он предупредил, что в интересах дела ему придется задать, э, несколько специальных вопросов, относящихся, так сказать, к интимной стороне жизни. Больной кивал с серьезным и понимающим видом: дело есть дело. И вкрадчивым голосом, с подобающей скорбью, почтительно наклонив плоскую, блестящую и лысеющую голову, поведал он о своем недуге.

Он старался не упустить ни одной подробности, был многословен, даже красноречив. В этой добросовестности пациента было что-то угодливое, точно он доносил на себя.

По его мнению, причина болезни заключалась в бремене дел, которое он самоотверженно возложил на себя. Поистине мы живем в трудное время; себе не принадлежишь. Так и случилось то, что служебные обязанности, поглотив все его силы, лишили его личной жизни не только в переносном, но и в буквальном смысле: лишили счастья быть мужчиной. Вот уже много лет он знает лишь уродливую форму наслаждения; но женщины по-прежнему привлекают его, как это и должно быть в

его возрасте: ведь он еще молод. Увы, он не в силах ответить на их страсть!

Он знает, что пользуется успехом. Неизвестные девушки пишут ему о своей любви; он получает множество писем из-за границы. Секретарь ежедневно извлекает из его корреспонденции десятки фотографических карточек. Некоторые совсем недурны... И что же?..

Важно кивнув, доктор остановил этот поток признаний внушительным и умиротворяющим жестом. Просмотрел архив пациента. Ни в одном из документов страдалец не был назван своим настоящим именем. Впрочем, кому было известно его настоящее имя? История болезни демонстрировала все последние достижения медицинской науки. Это был какой-то нескончаемый каталог всевозможных исследований, диагностических и лечебных процедур, и Седрик подивился терпению пациента и его неистощимой вере в могущество врачебной науки. Были мобилизованы лучшие силы. Фирма АГ-Фарбен синтезировала новейший, сугубо секретный гормональный препарат. Предпринимались героические меры реанимации — вплоть до особой, весьма изобретательной психотерапии посредством кинофильмов. По видимому, были приглашены особо искусственные партерши.

Отчаявшись получить исцеление от врачей, больной прибег к услугам специалистов оккультного профиля: так, его пользовал маг Тобрука Ишхак 2-й, знаменитый гипноспирит, весьма сведущий в области нервно-половых расстройств. После его консультации директор несколько ободрился, но первое же свидание с прелестной огненноволосой Марикой Рокк повергло его вновь в пучину разочарования.

Седрик встал. Тотчас поднялся и пациент, стал навтыжку, ожидая приказаний. Глаза его выражали бесконечную преданность.

Величественно-гостеприимным жестом профессор указал на ширму.

Анализируя последующие впечатления Седрика, нуж-

но прежде всего сказать, что он постарался отрешиться от каких бы то ни было "впечатлений". С момента, когда он задал первый вопрос больному, весь комплекс профессиональных рефлексов направил его внимание на сущность болезни, и лишь путем, так сказать, вторичной рефлексии ум Седрика возвратился к пониманию совокупной личности пациента. Так в течение десяти минут абстрактный человеческий орган, именуемый *locus minoris resistentiae* превратился вновь в персону директора треста. Но теперь многое из того, что могло озадачить или даже изумить стороннего наблюдателя, по зрелом размышлении выглядело не столь уж неожиданным.

Выражаясь яснее — начиная с известного момента, Седрик ничему уже не удивлялся.

Не удивила его и татуировка. Директор предстал в нежно-голубой нижней сорочке и шелковых носках; и, когда по знаку врача, пожелавшего произвести общий осмотр, он покорно и целомудренно приподнял сорочку, обнажилась несколько избыточная грудь и на ней — длинный кинжал с изогнутой рукояткой и надпись "СМЕРТЬ ЖИДАМ", — разумеется, на родном языке владельца. Надпись подтверждала версию о демократическом происхождении директора. — На левой руке, ниже локтя, были изображены гроб и пронзенное сердце и начертан второй девиз:

"Es gibt kein Glück im Leben" ("Нет счастья в жизни").

Слегка смутившись, пациент пробормотал что-то насчет заблуждений юности... В эту минуту осмотр был неожиданно прерван. Ни с того ни с сего пациент попятился; глаза его расширились. Руки судорожно вцепились в детородные части. "Ни с места, — зашептал он. — Ни с места!" Седрик, с трубками фонендоскопа в ушах, обернулся. С большим трудом ему удалось успокоить дрожащего больного, но так и осталось непонятным, что он там увидел под столом.

Как и подобает человеку зрелых лет, недостаточно

тренированному и к тому же больному, он протянул руку профессору, и тот помог ему вскарабкаться на высокое кресло. Отсутствие ассистентки несколько удлинило исследование.

Когда оно было закончено, Седрик дал время пациенту привести себя за ширмой в порядок, еще раз задумчиво перелистал бумаги, просмотрел на негатоскопе рентгеновские пленки. И наконец воззрился на пациента тусклым, старчески-невывразительным взглядом. И в этом взгляде пациент прочитал свой приговор.

По-видимому, впервые в своей многолетней практике Седрик изменил врачебному долгу, повелевающему ни при каких обстоятельствах не лишать больного надежды. Само собой разумеется, что, не будучи специалистом, автор лишен возможности дать компетентную оценку заключению Седрика о характере заболевания директора треста, однако не директор является героем этих страниц. Характеристика же Седрика несколько не пострадает от того, что мы опустим заключительные подробности этой замечательной консультации. Прикрыв глаза рукой, Седрик сказал, что болезнь неизлечима. Он даже позволил себе заметить, что в некотором смысле она может быть истолкована как божий перст. Перспектива могла бы быть несколько более утешительной, если бы пациент согласился бы сложить с себя, э, свои обязанности. Так сказать, удалиться на покой. Однако и в этом случае рассчитывать на исцеление трудно.

15.

"...Этот народ, которого загрызла волчица, расплющенный под пятой легионов, народ, на глазах у которого рухнул и превратился в пыль его храм, этот трижды обреченный, отвергнутый собственным Богом народ пережил и единственное в своем роде крушение духа, после которого он, подобно восставшему от болезни, навсегда понес в себе семя тлена, заразу разложения, ибо, как сказал германский поэт, проклятие зла само порождает зло".

Раскрывай утренние газеты, обыватели без труда узнавали в этой статье, перепечатанной из философского еженедельника "Дер баннертрегер", полный экспрессии стиль выдающегося мыслителя рейха Ульриха Лоэ, человека, прозванного "совестью века", ныне генерала СС и заместителя начальника Управления теоретических изысканий при Главном Управлении безопасности.

"К этому крушению, — продолжал Ульрих Лоэ, — народ этот был подготовлен десятью веками своей истории; его летопись и символ веры, в котором устами всевышнего он провозглашает себя избранным народом, — пресловутое Священное писание, — рисует его таким, каков он был на самом деле: избранным народом преступников, ибо это летопись нескончаемой цепи убийств, подлогов и кровосмешений.

Однако даже противоположное толкование Библии в равной мере уличает этот народ, так как если он записал в свою книгу (как уверяют его адвокаты) заповеди добра, то сам же первый их и нарушил: проклятие зла, тяготеющее над ним, состоит, между прочим, в том, что против него, против этого народа, одинаково свидетельствуют как исторические улики, так и то, что служит их опровержением. Докажут их или докажут противоположное — он все равно будет достоин кары.

Так, он виновен в том, что совершил преступление против человечества, истребив своего мессию Христа, и вместе с тем виноват в том, что создал и распространил христианство. Этот народ одинаково виноват и с точки зрения верующих, и с точки зрения атеистов. Запятнанный кровью Богочеловека, он несет ответственность и за то, что породил его, и за то, что его никогда не существовало, если окажется, что этого Богочеловека не существовало. В конечном счете проклятие зла состоит в том, что этот народ виноват уже самим фактом своего существования.

Потерпев крах, он рассеялся среди других племен, чтобы бросать повсюду семена разложения и упадка, и мог бы неслыханно преуспеть в этом деле, если бы

нордические народы своевременно не разгадали его. Они поняли, с кем они имеют дело в лице этих хитрых, изворотливых, даровитых, необычайно живучих, потентных в сексуальном отношении, но физически слабых прищельцев с дегенеративной формой лба, бегающими глазами, длинным и крючковатым носом, склонных к шизофрении, диабету, болезням ног и сифилису. Юные нации Европы приняли свои меры, и менее чем за двести лет, с начала XIV века по 1497 год, этот народ был изгнан из Германии, Франции, Испании и Португалии.

Тогда второй раз в истории открылась возможность покончить с ним навсегда. Нации не воспользовались этой возможностью. И очень скоро евреи, со свойственной им изворотливостью, наверстали упущенное. С необычайной энергией они взялись за дело, вредя всюду, где только можно, провозглашая буржуазный прогресс, ратуя за демократию и незаметно опутывая весь мир властью денег. Они захватили в свои руки торговлю и кредит, с рассчитанным коварством утвердились в медицине, монополизировали ремесла и втерлись в доверие к государям, подавая им губительные советы. Не кто иной, как еврейские плутократы были виновниками всех несчастий, поразивших Европу, да и не только Европу, на протяжении последних столетий. А во тьме своих синагог они тайно торжествовали победу и с мстительной радостью причащались опресноками, замешанными, как это неопровержимо доказано еще в XII веке, на крови невинных детей.

К числу наиболее зловредных последствий буржуазно-либерального прогресса следует отнести равноправие евреев, провозглашенное сначала в Америке, а затем во Франции в результате французской буржуазной революции, инспирированной самими евреями. Следствием этого было глубокое п р о е в р е и в а н и е населения в упомянутых странах. Постепенно по всей Европе они захватили гражданские права, так что к началу нашего века лишь две нации оставались на позициях здоро-

вого инстинкта самозащиты, Россия и менее безупречная в других отношениях Румыния...

Все это привело к тому, что внешне евреи зачастую перестали отличаться от неевреев. Умение принимать облик обыкновенных людей нужно считать особо опасным свойством иудейской мимикрии. Но с у б с т а н ц и я еврейства не изменилась. Она не исчезла и не растворилась. В полной мере она сохранила свою губительную силу, о чем предостерегает пример большевистской лжереволуции, все главные деятели которой, как известно, были евреями.

Ныне перед народами вновь открывается возможность решить историческую задачу ликвидации иудейского ига. Задача эта всесторонне обоснована достижениями эрббологической науки. Путь к ее осуществлению указывает народам Великая Февральская национал-социалистическая революция. Совесть революционеров всех стран, все прогрессивное человечество больше не могут мириться с засильем еврейского плутократического капитала, с международным сионистским заговором. Пролетариат всех стран, объединяйся в борьбе с еврейством. Народы требуют покончить с заклятым врагом человечества — международным сионизмом. Народы требуют покончить с угнетением. Самуил, убирайся прочь! — твердо говорят они. — Реввека, собирай чемоданы!"

16.

О том, что власти собираются осуществить мероприятие под кодовым названием, уже упомянутым нами в одном из предыдущих разделов, король узнал не по официальным каналам. Он услышал о нем в клинике, в ту минуту, когда, облаченный в белую миткалевую рубашку и бумазейные штаны, в клеенчатом фартуке, шапочке и полумаске, он стоял над дымящимся тазом, осторожно опуская в воду, пахнущую нашатырем, свои тонкие и длинные руки.

Привычными движениями он растирал комком мар-

ли в воде свои пальцы — с таким усердием, как будто хотел стереть с них самую кожу, — и в это время до него донеслись две-три фразы. Он не терпел посторонних разговоров в операционной и тотчас потребовал, чтобы ему объяснили, в чем дело.

Оказалось, управление имперского комиссара расклеило в городе приказ о регистрации некоторой категории гражданских лиц, с каковой целью этим лицам предписывалось явиться в местную комендатуру и в дальнейшем носить нагрудный опознавательный знак.

Мера эта не должна была никого удивить, да и не скрывала в себе никакой тайны относительно дальнейших мероприятий в этом направлении, ибо на всех территориях, контролируемых рейхом, уже начато было проведение программы, имевшей целью радикально оградить европейские нации от соприкосновения с чуждым и пагубным элементом.

Седрик промолчал, дав понять, что здесь не место обсуждать подобные темы. Да и вообще они не заслуживали обсуждения. Впрочем, среди персонала клиники евреев не было. Он выпрямился, морщась от боли в пояснице, вдумчиво осушил складки кожи между пальцами стерильной марлей. Мякоть пальцев собралась в складочки, как у прачки. Вытирание рук представляло собой сложный ритуал: вначале кончики пальцев, основания ногтей, суставы; ладонь, которую он держал на отлете, как женщина держит зеркало; затем тыльные стороны кистей, наконец, опасливо свернув комок марли, — запястья. Последний взмах от косточки к локтю — марля летит в эмалированное ведро. Шурша передником, полузакрыв старческие глаза, король прошествовал к стеклянным дверям. Свои руки он нес перед собой, словно некий дар. Двери распахнулись. Больная спала, над ней сверкала круглая лучезарная лампа.

Наркотизатор ждал у изголовья. Другой доктор, ответственный за переливание крови, стоял, утвердив, как албарду, блестящую стойку с ампулой. За своим лот-

ком стояла операционная сестра, закутанная в марлю. Приготовления к операции наводили на мысль о богослужении. Седрик любил эту торжественность.

Иностранец стажер усердно помахивал палочкой-обрабатывал йодом операционное поле. А напротив всей этой группы, за спиной стажера, вся верхняя часть стены была вырезана и заменена толстым стеклом, и там видны были тесно придавленные друг к другу неподвижные лица студентов.

Последовала церемония надевания стерильного халата: две сестры суетились вокруг него. Одна завязывала на спине тесемки, другая подала перчатки, — король нырнул сначала в правую, потом в левую, сложив щепотью персты. Ему подали щипцами шарик, плеснули спирт; подтянули и перебинтовали у запястий перчатки. Ему заботливо поправили шапочку. Оглядели его напоследок — точно ища последние пылинки. И Седрик подошел к столу.

Седрик ни о чем больше не думал. Он не думал о бездне абсурда, в которой эта белая операционная, где он вполне принадлежал самому себе, где ему по праву принадлежало первое место, казалась ему единственным островком разума и покоя. Он повернулся к сестрам, они сняли простыню и придали спящей женщине нужное положение на столе. Иностранец узкими раскосыми глазами над маской смотрел на Седрика. В его жизни это был великий момент. Иностранец был мал ростом, и ему подвинули скамеечку. Затем с его помощью Седрик набросил стерильную простыню на прекрасное обнаженное тело. В ней было вырезано четырехугольное окно.

Сестра, покрытая марлевой фатой, подъехала со своим лотком.

Седрик стоял над столом, неправдоподобно высокий, халат доходил ему до бедер; склонив сухую голову с большим хрящеватым носом, торчавшим над маской, как клюв, он всматривался в оливковый от йода квадрат кожи в операционном окне. Больная глубоко и мерно дышала; это было видно по движениям груди под

простыней. Пальцы короля как бы струились по ее коже: он отыскивал ориентиры. Ассистент, с тупфером и раскрытым наготове кровоостанавливающим зажимом, навис над его руками. Сказав что-то ассистенту по-французски, Седрик взял скальпель и не спеша провел длинную дугообразную линию от паха к поясице. Этот разрез, известный под именем разреза Израиля, удачно открывал доступ к почке, но в других обстоятельствах никому не пришло бы в голову увидеть в этом названии некое предзнаменование.

17.

Приступая к заключительному эпизоду этой краткой хроники последних лет жизни короля Седрика X, эпизоду, достаточно известному, почему он и будет изложен максимально сжато, без каких-либо экскурсов в психологию, — мы хотели бы предпослать ему несколько общих замечаний касательно малоисследованного вопроса о целесообразности человеческих поступков. Мы решаемся задержать внимание читателя на этой абстрактной теме главным образом потому, что хотим предостеречь его от распространенной интерпретации упомянутого эпизода, согласно которой король отважился на этот шаг, или, как тогда говорили, "отколол номер", в результате обдуманного решения, так сказать, взвесив все про и contra, и чуть ли не рассчитал наперед все общественно-политические последствия своего поступка — кстати сказать, сильно преувеличенные. Слишком многие в то время видели в короле своего рода оплот здравого смысла, слишком многим он казался образцом разумного конформизма, человеком, который в чрезвычайных обстоятельствах сумел найти правильную линию поведения, избежать крайностей и спасти от катастрофы свой беззащитный народ, сохранив при этом свое доброе имя. И когда этот умудренный жизнью муж совершил поступок, явно нелепый, почти хулиганский и имевший следствием неслыханное нарушение общественного порядка в столице, — поступок, в конечном

счете стоивший ему жизни, — многие тем не менее склонны были за бросающейся в глаза экстравагантностью видеть все тот же расчет. Казалось, Седрик преследовал определенную цель, действовал по заранее разработанному плану. Ничего подобного. На основании анализа всего имеющегося в его распоряжении материала автор заявляет, что шаг короля был именно таким, каким он представлялся всякому непредубежденному наблюдателю — нелепым, бессмысленным, не обоснованным никакими разумными соображениями, не имеющим никакой определенной цели, кроме стремления бросить вызов всему окружающему или (как выразился герой одного литературного романа) "заявить своеволие".

Где уж там было рассчитывать общественные последствия своей выходки! На короля нашел какой-то стих. Хотя, надо сказать, внешне это никак не проявлялось. (См. ниже описание утренних приготовлений, совершавшихся с обычной для нашего героя унылой методичностью, словно он собирался на прием к зубному врачу.)

Впрочем, воспоминания королевы, да и другие источники, указывают на некоторые отклонения от привычного стандарта, имевшие место накануне обсуждаемого события: так, например, было отмечено, что король вернулся из клиники в необычно приподнятом настроении. Это настроение сохранялось у него весь вечер. Вместо вещей Генделя и Букстехуде исполнялись фрагменты из оперетки Оффенбаха — кстати, строжайше запрещенного к исполнению на территории рейха и подопечных стран — "Герцогиня Герольштейнская" и даже просто вульгарные песенки, которые его величество напевал хриплым фальцетом. По некоторым данным, он склонял свою невестку — ту самую особу немецкого происхождения, не скрывавшую своей влюбленности в фюрера, — протанцевать кадрили. Ночью Седрик пил в больших количествах щелочную минеральную воду. — В этой связи представляют интерес наблюдения королевы о наследственной черте, периодически проявлявшейся у различных представителей династии.

черте, которую она определяет как "любовь к безумию". Именно эта любовь ( **predilection** ) объясняет, по мнению мемуаристки, необъяснимое поведение двадцатичетырехлетнего командира гвардии, приходившегося внучатым племянником королю, в первый день оккупации; следствием этого поведения была, как помнит читатель, бессмысленная гибель гвардейского эскадрона вместе с его командиром. Она же позволяет понять поступок кронпринца Седрика—Эдварда, старшего сына короля, покинувшего страну якобы для лечения, а на самом деле для того, чтобы вступить в английские военно-воздушные силы. И уже совершенно излишне говорить, насколько эта черта была свойственна пресловутому "северному кузену" Седрика, не однажды упомянутому на этих страницах.

Сугубо схематически поведение человека в ответственные моменты его жизни можно представить как следование одному из трех заветов, из которых наиболее почтенным с философской точки зрения надо признать завет недеяния, возвещенный тысячи лет назад мудростью даосизма. Однако реально мыслящему человеку, вынужденному считаться с эмпирической действительностью, более импонирует завет разумного и целесообразного действия — того действия, которое основано на трезвом учете объективных обстоятельств и более того, априори как бы запрограммировано ими. Априори известно, что плетью обуха не перешибешь. Тезис, который находит себе значительно более изящную формулировку в положении о свободе как осознанной необходимости.

Третий завет есть завет абсурдного деяния.

Абсурдное деяние перечеркивает действительность. На место истины, обязательной для всех, оно ставит истину, очевидную только для одного человека. Строго говоря, оно означает, что тот, кто решился действовать так, сам стал живой истиной. Человек, принявший бессмысленное решение, тем самым ставит себя на мес-

то Бога. Ибо только Богу приличествует игнорировать действительность.

(Можно предполагать, что именно это соображение было источником явного неодобрения, с которым встретили эскападу Седрика и все, что за ней последовало, конфессиональные круги.)

Самым решительным опровержением доктрины бессмысленного деяния (если это вообще можно назвать доктриной) служит то, что оно не приводит ни к каким позитивным результатам. Опять же всем и каждому ясно, что плетью обуха не перешибешь. И дело обычно кончается тем, что от плетки остается одна деревяшка. Смерть Седрика не повлияла на исход войны, этот исход решили другие факторы — исторические закономерности эволюции рейха, реальная мощь сил, противостоящих ему. Акт (или "номер"), содеянный впавшим в помрачение ума престарелым опереточным монархом, не облегчил даже участи тех, в чью защиту он выступил, вопреки легенде о том, что-де под шумок удалось кое-кого переправить за границу, спрятать оставшихся и т.п.; это как раз и доказывает, что акт был совершен по наитию, без всякого плана. Подвиг Седрика, этого новоявленного Дон-Кихота, был бесполезен. И если можно говорить о его реальных последствиях, то разве лишь о том, что король заразил на какое-то время своим безумием более или менее ограниченное число обывателей. После этих замечаний читателю станет понятным то очевидное пренебрежение, с которым биографы короля описывают этот нелепо-романтический жест, завершивший долгую и в целом не лишнюю привлекательных сторон жизнь Седрика Десятого.

Утро следующего дня, мягкое и пасмурное, не было ознаменовано никакими событиями, если не считать того, что тотчас после обычных занятий в кабинете король распорядился принести ему э т у в е щ ь. Он потребо-

вал даже два экземпляра сразу. Секретарь слышал этот приказ и ломал голову над тем, что бы это могло значить. Затем, на половине королевы (Амалия с ужасом следила за этими приготовлениями), Седрик отослал камеристку, попросил оставить все необходимое на столике перед зеркалом. В конце концов он был хирург и старый солдат и вполне мог управиться с нитками сам. Однако он придавал значение тому, чтобы это сделала Амалия: Нужно было поторопиться, ибо близился Час короля, а Седрик не мог позволить себе опоздать хотя бы на минуту.

Он успел переодеться, — как всегда, на нем был зелено-голубой мундир лейб-гвардейского эскадрона, шэфом которого он считался; Рыцарскую звезду, однако, пришлось снять, так как инструкция предписывала ношение гексаграммы на той же стороне, то есть слева. И теперь он стоял, терпеливо вытянув руки по швам и задрав подбородок, пока Амалия, едва достававшая ему до плеча последнею волной своего пышного желто-седого шиньона, возилась с иглой и откусывала зубами нитку, словно какая-нибудь жена почтаря, пришивающая мужу пуговицу перед тем, как отправить его на работу. Но оба они, в конце концов, ходили на пожилую провинциальную чету и ни на кого более. По его указанию она пришила и себе. Произошло некоторое замешательство, почти смятение немолодой дамы, вынужденной совлечь с себя платье в присутствии мужчины. Закатился под стол наперсток. Словом, на все ушла уйма времени.

А затем некий молотобоец начал на башне бить медной кувалдой в медную доску. Двенадцать ударов. И что-то перевернулось в старом механизме, и куранты принялись торжественно и гнусаво вызванивать гимн. Часовой в костюме, воскрешающем времена д'Артаньяна, почтительно отворил ворота. По аллее шел Седрик, длинный как жердь, ведя под руку торопливо семенящую Амалию. Происходило неслыханное нарушение традиций, ибо конь рыцаря тщетно гневался, бия копы-

том в прохладном сумраке своего стойла. Король отправился в путь пешком.

Прохожие остолбенело взирали на это явление, впервые видя короля не в седле и об руку с супругой, но главным образом были скандализированы неожиданной и ни с чем не сообразной подробностью, украшавшей костюмы шествующей августейшей четы. Перед тем как свернуть на бульвар, навстречу идущим попался низкорослый подслеповатый человек, он брел, клейменный тем же знаком. На него старались не обращать внимания, как не принято смотреть на калеку или на урода с обезображенным лицом; зато с тем большей неотвратимостью, точно загипнотизированные, взоры всех приковались к большой желтой шестиугольной звезде на груди у Седрика X и маленькой звезде на выходном платье королевы. Эта звезда казалась сумасшедшим видением, фантастическим символом зла; невозможно было поверить в ее реальность, и непонятен был в первую минуту ее смысл. Иные решили, что старый король рехнулся. Приказ имперского комиссара чернел на тумбах театральных афиш и на углах домов.

Закрывать глаза. Немедленно отвернуться. А эти двое все шли...

Родители уводили детей.

Нет сомнения, что в эту минуту в канцелярии ортскомиссара уже дребезжал тревожный телефон. Оттуда неслыханное известие понеслось по проводам дальше и выше, в мистические недра власти. Было непонятно, как надлежит реагировать на случившееся.

В это время выглянуло солнце, слабый луч его просочился сквозь серую вату облаков, заблестели мокрые сучья лип на бульваре. Ярко заблестела мостовая... Быть может, читатель замечал, как иногда атмосферические явления неожиданно решают трудные психологические проблемы. Вдруг все стало просто и весело, как вид этих двух стариков. Король все чаще приподнимал каскетку, отвечая кому-то; Амалия кивала тусклым колоколом волос, улыбалась засушенной улыбкой. Ко-

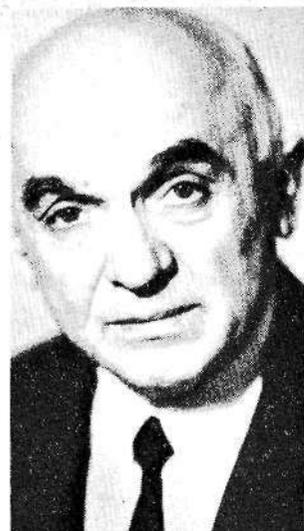
роль искал глазами библиотекаря. Библиотекаря нигде не было.

Король со стариковской галантностью коснулся пальцами козырька в ответ на поклон дамы, которая быстро шла, держа за руку ребенка. У обоих на груди желтели звезды, это можно было считать редким совпадением: согласно церковной статистике в городе проживало не более полутора тысяч лиц, имеющих право на этот знак.

Далее он заметил, что число прохожих с шестиугольником становилось как будто больше. Седрик покосился на Амалию, семенившую рядом, — на каждый шаг его приходилось три шажка ее величества. Амалия поджала губы, ее лицо приняло необыкновенно чопорное выражение. Похоже было, что эти полторы тысячи точно сговорились выйти встречать их; эти отверженные, отлученные от человечества вылезли на свет божий из своих нор, вместе с ним они маршировали по городу, разгуливали по улицам без всякой цели, просто для того, чтобы показать, что они все еще живут на свете! Однако их было как-то уж слишком много. Их становилось все больше. Какие-то люди выходили из подъездов с желтыми лоскутками, наспех приколотыми к пиджакам, дети выбегали из подворотен с уродливыми подобиями звезд, вырезанных из картона, некоторые нацепили раскрашенные куски газеты. На Санкт-Андреас маргт, напротив бульвара, стоял полицейский регулировщик, держа в вытянутой руке полосатый жезл. Полисмен отдал честь королю, на его темно-синем мундире ярко выделялась канареечная звезда. И он был из этих полутора тысяч! И так, статистика была посрамлена, либо пришлось допустить, что его подданные приписали себя сразу к двум национальностям, а это, собственно, и не означало ничего другого, как только то, что статистика потерпела крах.

Королева устала от долгого пути, король был тоже утомлен, главным образом необходимостью сдерживать чувства, характеризовать которые было бы затруднительно; во всяком случае, он давно не испытывал ниче-

го похожего. Ибо это был счастливый день, счастливый конец, каковым мы и завершим нашу повесть о короле. По дороге домой Седрик воздержался от обсуждения всего увиденного, полагая, что комментарии по этому поводу преждевременны или, напротив, запоздали. Он обратил внимание Амалии лишь на то, что липы рано облетели в этом году. Они благополучно пересекли мост, ведущий на Остров, и обогнули дворцовую площадь. Мушкетер, опоясанный шпагой, с желтой звездой на груди, распахнул перед ними кованые ворота.



Михаил ШУЛЬМАН

## РЕБ НУХЕМ

*Новелла № 138 из моих мемуаров под названием "БУТЫРСКИЙ ДЕКАМЕРОН"*

— Если вы думаете, что все сидевшие в мрачные сталинские времена в тюрьмах и лагерях не улыбались и не смеялись, то вы глубоко ошибаетесь. Мы даже хохотали там.

Эту тираду мне пришлось выдать писателям соцреалистам, инженерам и эскулапам человеческих душ, с которыми я отдыхал в Доме творчества в Малеевке под Москвой, незадолго до моего отъезда в Израиль.

Они мне не верили, а я почему-то злился и хотел им доказать свою правоту. Жена посоветовала рассказать им о реб Нухеме, с которым я сидел в Бутырской тюрьме. Я не думал, что рассказ о реб Нухеме сумеет их убедить, и решил выяснить уровень их чувства юмора на

другом эпизоде и только после этого рассказать о реб Нухеме, человеке, который мне дорог.

— За нашим столом, как вы заметили, — начал я, — сидит довольно пожилая, но молодящаяся и миловидная женщина лет 45. Она возглавляет литературный отдел Жмеринского кукольного театра. За три недели нашего совместного пребывания она, кроме положенных приветствий, не сказала ни единого слова, и наш сын дал ей кличку "трепачка"...

"Ничего смешного в этом не нахожу", — услышал я шепот какой-то литературной девы. Меня это не смутило, и я продолжал.

— Так вот, я решил рассказать этой даме старый-престарый анекдот, выдав его за реальный случай, который якобы произошел лично со мной... Перед самым отъездом из Москвы в Малеевку, — рассказал я ей, — ко мне домой постучала наша соседка по лестничной клетке, девушка лет 20, дочь инструктора Московского городского комитета КПСС. Она попросила у меня какую-нибудь книжку. Она скучала. Я направился в свою обширную библиотеку и крикнул ей оттуда: "Вы Тургенева любите?" — "Очень! — ответила она. — Это мой любимый писатель". — "Дворянское гнездо" хотите?" — спросил я ее. "Что вы, что вы, — запротестовала она, — я про птиц читать не люблю".

В этом месте моего повествования мои слушатели рассмеялись. Это обнадеживало, и я продолжил:

— А вот кукольная литераторша даже не улыбнулась... "Что тут особенного, — изрекла она, подняв высоко свои выщипанные брови, — не понимаю. Я тоже не люблю читать про птиц!"

Дружный хохот моих слушателей подтвердил, что они не без чувства юмора, и я решился рассказать им про реб Нухема. Это был анекдот другого характера. Юмор, как кто-то сказал, — висельников...

Реб Нухем был любимцем нашей 48-й камеры Бутырской тюрьмы, и по всем статьям, кроме уголовной, он резко отличался от всех нас. Никто в камере не имел

стольких прозвищ, как реб Нухем. Как только его не называли! И "Уникальный старик", и "Обалдительный человечище", "Шолом Алейхем" и Философ. Я не случайно не взял в кавычки слово философ. Он был философ без всяких там кавычек. А уж человек он был какой! Все двести камерников питали к нему глубокое уважение и чувство обожания.

Привели его в нашу до предела набитую камеру в июне месяце исторического 1937 года, и с момента его появления все, что с ним происходило, было крайне необычно, не как у всех нас. Никого из нас не приводили в момент, когда камера шла на утреннюю opravку в коридорный тюремный туалет. Половина обитателей уже была в коридоре, а другая половина еще находилась в камере, и дежурный по коридору остановил движение, так как именно в это время привели реб Нухема и приведший его вертухай должен был сдать его под расписку нашему дежурному.

Реб Нухема втиснули в первые ряды нашей колонны, и после зычной команды "Двинулись!" дежурные по камере подняли до краев переполненную парашу, и все мы медленно, как обычно, двинулись по направлению к туалету.

Появление новенького всегда вызывало большой интерес, а появление реб Нухема особенно. Интеллектуалы камеры, да и коридорные вертухай, с откровенным любопытством разглядывали реб Нухема, настолько он выглядел чудно и необычно. Такого, как реб Нухем, можно было увидеть только на сцене непрофессионального любительского еврейского театра...

Нет, нет, нет, такого картуза, какой был на реб Нухеме, после революции найти нельзя было ни за какие деньги. Это был какой-то бутафорский картуз с большим лакированным козырьком, как утверждал какой-то театральный специалист. Реб Нухем снял с головы этот картуз и вытер вспотевшую голову невероятно большим и невероятным по расцветке носовым платком. Мы увидели на его голове настоящую ермолку. Все,

в том числе и вертухай, стали перешептываться, иронически улыбаясь. Мы были начисто поражены, когда увидели, что из-под его жилета, с которого срезали все пуговицы, виднелось ритуальное религиозное одеяние цицис, с узловатыми кистями...

Впоследствии выяснилось, что реб Нухем категорически отказался идти в камеру, когда у него пытались отобрать эту "чепуху". Начальник тюрьмы в виде исключения, как религиозному человеку, разрешил ему все это забрать в камеру. Все это, плюс его борода, усы и пейсы и весь его облик, переносило нас в далекие дореволюционные времена, в еврейские местечки Белоруссии. Он словно сошел со страниц типических рассказов Шолом-Алейхема.

... Но и реб Нухем был удивлен не меньше нас. Он не понимал, что вне камеры категорически запрещалось разговаривать, даже шепотом. Он не понимал, куда это нас ведут и почему нас нужно охранять, когда все окна в решетках. Он не мог понять, почему это нужно держать руки назад, и с большим любопытством реб Нухем разглядывал парашу, которую несли с такой осторожностью.

— Что это несут? — спросил он меня. — Что это за процессия? Хоронят кого? И почему все молчат? И еще я хочу спросить...

Вертухай его грубо оборвал:

— Эй ты! Разговорчики! Руки назад! Ну! Старый пердун, живо!

— Это вы про меня? — спросил реб Нухем. — Ну, что я вам могу сказать на это...

— Разговорчики! Заходи!

Едва закрылась дверь туалета, мы окружили реб Нухема тесным кольцом и засыпали его вопросами. Семь месяцев в нашу камеру не поступали люди с воли, а реб Нухем только вчера был арестован, и мы жаждали получить от него информацию: что, мол, там и как?

Но реб Нухем отнесся к нашему любопытству безразлично и только молча пытался выйти из окружения.

Ему это с трудом удалось, и он жестом попросил одного подростка открыть для него кран. Он как-то по-особенному мыл свои длинные худощавые пальцы, все время что-то шепча, и, вытирая их, не прекращая шептать; реб Нухем направился в самый угол туалета и, подойдя к окну, начал громко молиться Богу, глядя через решетку с намордником в светлое голубое небо.

— Даже в самой глубокой провинции, — шепнул мне на ухо юрист Мориц Миронович Шлюглейт, — сегодня такого не увидишь.

А реб Нухем продолжал молиться, и никто не решался в это время к нему обратиться, даже Вася Гаврилов, бывший секретарь Казахстанского обкома комсомола, не отличавшийся особой деликатностью.

Все стали торопиться. На opravку давалось строго ограниченное время. Арестованных двести, а толчков пять, попробуй успеи... И пока шла opravка, мы попросили Морица Мироновича Шлюглейта расспросить реб Нухема, когда мы возвратимся в камеру. Для порядка. А уж лучше Шлюглейта никто в камере этого не сделает. Мы убедились в этом на практике. После его расспросов, построенных на научной основе, для всех в камере все становилось предельно ясным, и это не факт, а на самом деле, как любил говорить сам Шлюглейт, наш камерный юрист и лучший советчик.

— Как вас зовут? — был первый вопрос Шлюглейта.

— Кого, меня? — удивился реб Нухем. — Реб Нухем, а что?

Из дальнейших расспросов Шлюглейта выяснилось без труда, что реб Нухему 75 лет, что его только вчера арестовали и обвинения еще ему не предъявили, что он довольно сносно говорит по-русски и что он глубоко религиозный человек. Камера была крайне поражена, когда, отвечая на вопрос, реб Нухем сказал, что он никогда не читал и не читает газет.

— Зачем они мне нужны? — утверждал он, пожимая плечами с недоумением.

Выяснилось, что реб Нухем был глубоко беспартий-

ным существом, что всю свою жизнь он молился и портняжничал, портняжничал и молился, прилагая все свои усилия, чтобы вылечить больную жену Розочку, которую любил беспредельно и обожал. Когда же у него со зрением стало плохо и он уже не мог портняжить, то какой-то дальний родственник Розочки устроил его на работу в качестве табельщика в ГУТАП, то есть в Главное Управление автотракторной промышленности, на площади, как сказал реб Нухем, "какого-то Ногина".

Интеллектуалы камеры едва сдерживали себя, чтобы откровенно не расхохотаться, и желание это усугублялось выражением лица Морица Мироновича, на котором появилась печать безнадежности, хотя он героически продолжал вести свои расспросы. Интерес к реб Нухему как к новичку исчез, и большинство камерников ушли восвояси, многие позалезали под нары, и вскоре оттуда раздался храп. Возле реб Нухема и Шлюглейта остались только молодежь и любопытные.

— Откуда же я могу знать, — отвечал на очередной вопрос реб Нухем, — за что меня арестовали. Я был очень рад...

— Чему вы были рады? — оживленно спросил реб Нухема Шлюглейт.

—...рад, что моя жена Розочка вовремя умерла и не видела этого ужаса. Она бы этого не выдержала с ее сердцем, и я стал бы виновником ее смерти... А вы знаете, за что вас арестовали? — задал вопрос реб Нухем. — Так вы-таки счастливые, а я не знаю. Откуда я могу знать? За что-то меня Бог наказал.

— Хорошо, реб Нухем. А вы когда-нибудь были за границей, — допытывался уже потерявший надежду Шлюглейт.

— А что я там оставил? И что я там не видел? — ответил реб Нухем.

— Ну, может быть, ваши дети, родственники или близкие, ну, пусть знакомые, может, они были за границей?

— У меня никого нет. Я один, как перст.

Упрямый Шлюглейт, на которого смотрела вся камера с сожалением, продолжал свои расспросы, хотя понимал безнадежность своей миссии.

— Может быть, у вас была какая-то торговля или вы применяли наемную рабочую силу, — со вздохом спросил Шлюглейт.

— Я же вам сказал, что я всю жизнь портняжничал. Я специалист по брюкам. Такие штаны, как на вас, я не шил, конечно. И, кроме моей Розочки, царство ей небесное, никакой рабочей силы у меня не было. Я кроил и шил брюки, по особому заказу, а она пришивала пуговицы своими золотыми руками. Она...

— Хорошо, — прервал его немного грубовато Шлюглейт, — а какое у вас образование?

— У меня? Если по брюкам, то я долгие годы учился у знаменитого в Одессе Ельманзона. Лучше его никто в мире не мог так шить брюки, как он. Он шил брюки самому кантору Пине Миньковскому, и Разумному, и даже Мишка Япончик заказывал у него для свадьбы брюки с золотыми кантами. Правда, у него была привычка брать за свою бриллиантовую работу очень дорого, но за то он шил брюки как Бог. А в девятнадцатом году его расстреляли как богача, тогда много евреев расстреляли как богачей, хотя у них, кроме керосиновых лавок, портняжных мастерских, не было ничего... Другое же образование я получил у моего отца. Он был очень хорошим учителем и почетным человеком. Учился я в хедере, по теперешнему в школе или там в гимназии. Но отец учил меня и дома. Наша семья была глубоко религиозная, ортодоксальная, мы всю жизнь молились...

В глазах у Морица Мироновича Шлюглейта появилась искорка надежды.

— Ясно, ясно, — заторопился он, — вы принимали участие в деятельности какой-нибудь религиозной общины или были членом правления синагоги, а?

На этот вопрос Шлюглейта реб Нухем ответил с некоторым раздражением.

— Ни мой отец, ни я никогда не ходили молиться в эти трефные синагоги, где люди занимаются только своими гешефтами, политикой и болтовней. Мы всегда молились только дома. К нам приходили наши родственники, и мы молились.

— Хорошо, — успокоил его Шлюглейт, — а разговоры о выезде в Палестину вы никогда не вели, не пытались выехать. Ведь некоторые уехали туда?

Реб Нухем ненадолго задумался.

— Вы знаете Усышкина? Это сионистский деятель. И я, и мой отец уважали его, и мы нередко встречались. Что он говорил в 1917 году, когда была декларация англичан о Палестине? Вы не знаете? А я знаю. Я читал даже его приказ из Одессы. Он запрещал ехать в Палестину старикам, больным, глупым, бедным и нравственно испорченным людям, требуя направлять туда только здоровых, смелых, глубоко идейных и безусловно богатых молодых людей. Я был с ним полностью согласен и не мечтал ехать в Палестину. Зачем я там нужен? Пусть молодые едут...

— А кого-нибудь из ваших знакомых не арестовывали? — почти безнадежно спросил Шлюглейт реб Нухема.

— Я же вам сказал, что у меня никого нет.

— Как вы думаете, реб Нухем, в чем вас будут обвинять, вы об этом подумали?

— Не меня будут обвинять, а я буду обвинять, — серьезно сказал реб Нухем, — они пришли арестовывать меня во время вечерней молитвы, и я попросил их дать мне закончить молитву. Так нет, они забрали меня, не дав мне домолиться, и это-таки нехорошо. Я об этом скажу следователю, увидите, как он покраснеет.

Сославшись на усталость, Шлюглейт прекратил свои бесполезные расспросы, и в камере установилась привычная перед обедом тишина.

Как староста камеры, я поместил реб Нухема на нарах рядом с собой, и ни один арестованный со значительно большим стажем пребывания в тюрьме не возражал, хотя с возрастом здесь никто не считался.

Спустя некоторое время я разговорился с ним.

— Так вы, реб Нухем, из Одессы? А вы знали такого кантора шалашной синагоги Боруха Шульмана?

— Этого босняка? Этого хулигана? Так кто его в Одессе не знает?

Реб Нухем не знал, что кантор Борух Шульман мой родной отец, а когда кто-то из камерников рассказал ему, то он искал случая заговорить со мной об этом, чтобы реабилитироваться передо мной.

— Уж что-что, а петь этот кантор умел, еще как умел, этот безбожник, куда там Пине Миньковскому или Штейнбергу до него. Мой отец был большим любителем канторского пения и большим знатоком, и в детстве он меня всегда брал с собой в синагогу, чтобы послушать кантора Боруха Шульмана — не молиться, нет,— а чтобы насладиться его волшебством и талантом. Так, как он мог доводить несчастных евреев до слез и до истерик, так, как он мог добираться до их печенок, не умел никто. Он жив еще? Где он сейчас? И если вы унаследовали в вашей области его талант, то вам везде будет хорошо, можете поверить реб Нухему.

Вот такой был наш любимец, реб Нухем. Ему было намного легче, чем нам. Он жил и здесь, в тюрьме, в своем религиозном мире, в котором он находил полный покой. Ему были полностью чужды все наши проблемы, тюремные волнения и заботы. Его также нисколько не интересовала его личная судьба и перспектива, как не интересовало его, какое обвинение ему предъявят и как его будут допрашивать. Ко всему этому он относился с полным пренебрежением и безразличием, что вызывало у всех камерников удивление. Все свое время он отдавал молитвам, общению с Богом, в которого он верил беспредельно, самозабвенно, но не фанатично. Он был религиозен по-своему, и в его вере было много человеческого, доброго.

Ел он удивительно мало и почти все отдавал нашим камерным мальчишкам, к которым он относился с трогательной нежностью. Но никто не мог этого устано-

вить, и только те, кто следил за ним, за его лицом и глазами, лишь по чуть дрогнувшим губам определяли, как он жалел этих малышей, как он за них молился своему Богу. Он отдавал ребятам свой ларек целиком, и, по существу, он выписывал продукты из тюремного ларька только для них, и делал он это невероятно деликатно, ссылаясь на то, что этого ему есть нельзя или не положено. Шлюглейт как-то поделился со мной, что он заметил, как реб Нухем молился за всех нас и особенно за этих мальчишек и при этом горько и беззвучно рыдал.

Камера ахнула от удивления, когда узнала, что реб Нухем не мог ответить одному из мальчишек, кто такой Сталин, и все мальчишки, привязавшиеся к реб Нухему, стали его поперебой просвещать и даже научили его некоторым песням, из которых ему больше всего пришлась по душе песня о Буденном. И было трогательно и безумно смешно видеть, как реб Нухем в свободное от молитв время пел с ребятами песенку со словами "Мы красные кавалеристы, и про нас былиночки речистые ведут рассказ..."

В один из вечеров, когда реб Нухема окружили подростки и молодежь, Вася Гаврилов задал ему вопрос:

— Реб Нухем, что вы находите в вашем молении Богу? Он ведь и вас, верующего, не смог спасти от рук НКВД? Он же видит, что вы вместе с нами загудели в Бутырку, чего ваш Бог молчит, будто в рот воды набрал, а?

Реб Нухем медленно повернул к нему свою седую голову и измерил его ироническим взглядом.

— Человеку дано думать и говорить по мере того разума, которым наградили его Бог и природа. Есть вопросы, на которые не следует отвечать вообще, но поскольку здесь собралось так много людей, которые ждут моего ответа, я должен на поставленный вопрос ответить. Вы, Вася Гаврилов, заблуждаетесь, когда приписываете Богу утилитарные обязанности: мол, совершен кем-то неправильный поступок, а Бог должен не-

медленно вмешаться и поправить ошибку. Не в этом дело.

— А в чем тогда? — задал вопрос Вася Гаврилов.

— А в том, чтобы люди не совершали неправильные поступки, идущие во вред людям... Мой отец был великий педагог, я не помню, чтобы он когда-нибудь хоть чуть повысил голос на кого-нибудь. Он всегда считал, что дети — это основа всей жизни, и все свое внимание он уделял воспитанию детей, их родителей и учителей. Мой отец недавно умер в возрасте 114 лет. Он говорил, что дети и школы совсем не отвечают перед народом, а дети перед родителями и взрослыми. Меня в детстве все время убеждали: "Нухем, если ты совершишь дурной поступок, то тебя обязательно накажет Бог". И знаете, я это слышал и днем, и вечером, и утром. Про себя мы, конечно, понимали, что Бога бояться нечего, и все-таки мы не совершали плохих поступков. Мы старались не огорчать наших родителей и близких, и вот получилось, что мы стали вполне порядочными людьми. И знаете, учителя и родители научили нас понимать, что такое хорошо и что такое плохо. И постепенно мы привыкли поступать так, как нас учили и как нам подсказывала совесть. Слова и совесть должны сочетаться — так говорил мой отец, я уже сказал, что он был великий педагог. Воспитывать детей — это не одно и то же, что шить брюки. А сегодня дети, как заведенные, бубнят свою пионерскую присягу. По-моему она в сто раз длиннее, чем все десять заповедей Торы. Ну и что, если они произносят эту присягу, когда они ее сейчас же забывают. Самое важное, чтобы сочетались сознание и поступки...

— Что-то очень сложно, реб Нухем. Что такое сочетание сознания и поступков? — не унимался Вася Гаврилов.

— А вот что. Если вы, Вася, при входе женщины в автобус уступаете ей место, значит у вас есть это сочетание. А у тех, кто так не делает, между сознанием и поступком нет ничего общего, и это очень трагично. Что тут трагического? А то, что из ста парней, которые так

не поступают, все сто сознанием понимают, что они обязаны уступить женщине или старику место, однако они этого не делают.

— А почему? — спросил кто-то.

— Привычки нужно тренировать упорно и настойчиво, до той поры, пока не добьешься результатов.

— Как в старой царской армии, муштрой, так, что ли? — вставил Вася Гаврилов.

— Муштра исключает сознание, а я настаиваю на единстве сознания и поступка через тренировку, а это уже не муштра.

Все мы его всегда слушали с огромным вниманием и поражались его эрудированности и образованию. Говорил он очень увлекательно, убедительно, но спокойно. Вот и сейчас...

— Вот вы мне ответьте, Вася, что было бы с человеком, если бы он длительное время не принимал пищу?

— Да он бы помер, — ответил Вася, — это ясно как божий день.

— Верно, Вася. И если бы ему не давали пить, он бы тоже умер...

Никто из нас не мог догадаться, куда же клонит свой разговор реб Нухем.

—...и без воздуха он бы не смог долго прожить, и без соли, и сахара... Не может человек прожить и без веры и если он не будет ежедневно молиться, то неизбежно потеряет чувство ответственности сначала перед Богом, а потом и перед людьми. И дело здесь не в синагогах, не в иконах, а во внутренней вере... Мне вера в Бога нужна, как организму пища или вода, и человек одинаково перестает быть человеком без духовной пищи, как и без физической.

Вот такой был наш реб Нухем. Он был толков и прост, всяческие софизмы и талмудические хитрости ему были абсолютно чужды. Никто раньше не предполагал, что он такой интеллигентный и обладает такой памятью.

а то, что он не знал, кто такой Сталин, не такая уж потеря. А может быть, он шутил?

Но второсортный вождь Казахстанского комсомола (второй секретарь) Вася Гаврилов не унимался:

— Счастье ваше, что вы в тюрьме, реб Нухем, где люди, потеряв контроль над собой, несут, что им вздумается. Вашими высказываниями вы дискредитируете советскую среднюю школу и тянете ее назад. Так что же, реб Нухем, — изрек Вася Гаврилов, — назад к гимназии?

— Зачем назад, вперед к гимназии! Со мной ведь не обязательно соглашаться, Вася, я высказываю лишь то, что думаю, что считаю полезным... Мальчишки прожужжали мне все уши вашими Стахановыми, Изотовыми. А сколько, интересно, они окончили классов? Конечно, все они очень важные люди, но, как вы думаете, Вася, может быть, все-таки Менделеев, Тимирязев и Павлов сделали в жизни не меньше? А ведь этих людей воспитала гимназия.

Вася не сдавался.

— Судя по тону, каким вы говорите, реб Нухем, вы, наверно, стоите на позициях старой народной поговорки, что яйца курицу не учат. Наше время это опровергло, яйца сегодня могут учить курицу.

— При одном условии, если они свежие, хотя бы свежие, — мягко добавил реб Нухем.

Все расхохотались, и Вася, пораженный, отошел к параше под общий смех всей камеры...

Наше веселье было прервано вызовом реб Нухема на первый вопрос. Через час он вернулся назад в довольно мрачном настроении. Все молча и исподтишка следили за ним. Реб Нухем молча ходил по узкому проходу между нарами, держа руки сзади, напевая под нос выученную им песенку: "Веди ж, Буденный, нас смелее в бой..." Вдруг он подошел ко мне и сказал:

— Скажите, Миша, что, это большой пробел, что я до сих пор не знал, кто такой Сталин? Или Ленин?..

Это было так неожиданно, что я не нашелся, что ответить. И вне связи с этим вопросом, не получив на него ответа, реб Нухем сказал:

— Следователь мне сказал, что я террорист, вы понимаете, террорист! Как вам это нравится?

— А кого вы хотели убить? — спросил его Вася Гаврилов.

— Откуда я знаю? Он меня для того и отпустил в камеру, чтобы я подумал и сказал ему на следующем допросе, кого я хотел убить... Реб Нухем террорист, звучит неплохо, а?

После этих слов он снова зашагал по камере напевая: "Веди ж, Буденный, нас смелее в бой..."

Когда, вернувшись со второго вопроса, он высыпал из карманов лапсердака и брюк яблоки, печенье, папиросы и другие следовательские дары, все мы поняли, что реб Нухем сознался. Как никогда, он долго делил на кучки свои трофеи, чтобы раздать ребятам, и потом молча сидел за длинным столом, опустив голову на сплетенные пальцы рук. Затем с большим трудом забрался на нары и долго лежал. Когда стали слышны звуки раздаваемого ужина в соседних камерах, он поднялся и снова стал ходить по камерному коридору. На его лице была печать недоумения, и он все время повторял одно слово: "а, зачехля!" — что означало: затеяли...

Немного позднее он рассказал нам, что совсем еще молодой следователь заставил его сесть верхом на стул и приказал вообразить, что он, реб Нухем, едет верхом на лошади. Реб Нухем выполнил это требование, но спросил, для чего это нужно делать.

— Погоняй, погоняй! — заорал следователь и со всего размаха ударил его по лицу. — Ты будешь давать показания, а? Будешь, троцкистская гадина?!

— А почему же нет, — грустно сказал ему реб Нухем, — для чего же, по-вашему, я сюда пришел? — сказал реб Нухем, утирая кровь.

— Так кого ты хотел убить, негодяй?! Говори, а то я тебя превращу в бифштекс. Слышишь? — истерически заорал следователь. — Кого???

— Кого?.. А, напишите Буденного... Какая разница?

Последний раз я встретил реб Нухема на пересылке перед отправкой на этап. Увидев меня, он очень обрадовался, а я еще больше.

— Дай Бог им здоровья, — сказал, улыбаясь, реб Нухем, — я полагал, что я проживу года три, ну, четыре, а они мне дали двадцать пять лет, — и он засмеялся, как малое дитя...

До лагеря он не доехал... Мне рассказали уже на Кольме, что он скончался в вагоне товарного поезда, и никто не знает, где он похоронен...

х х х

Инженеры человеческих душ слушали меня траурно тихо, и лишь одна юная студентка театральной школы сказала со слезами на глазах:

— Я не вижу ничего смешного в этом рассказе. Над чем тут смеяться?

Действительно, над чем?

## КОМАНДАРМ У ПАРАШИ

*Новелла № 139, "Бутырский декамерон"*

Сорок седьмая камера ожидала выписки продуктов из тюремного ларька.

Мы были лишены права на посылки из дома. Никаких передач. Никаких свиданий. Никакой переписки. И никаких подушек, матрацев, одеял, бумаги, карандашей... Ничего. Лишь раз в месяц родным разрешали делать микроскопические денежные переводы на лицевые счета арестованных. У некоторых деньги были изъяты во время обысков при аресте. И они попадали на лицевые счета. Что и говорить, порядочек образцовейший!

Кое у кого вовсе не было денег. Не оказалось при аресте, не было ни родных, ни семьи, а от иных отказались любимые женушки, не дожидаясь окончания следствия. Ну, и еще иногородние, не москвичи.

Благою Попову следователь сообщил, что от него отказалась на второй день после ареста жена — Рика Кусинен. Но Благой не дрогнул. Держался в Бутырской тюрьме с неменьшим достоинством, чем в Моабитской, в 1933 году, по обвинению в поджоге рейхстага вместе с Георгием Димитровым и Таневым. И здесь, в Бутырке, следователь не раз говорил Благою Попову с угрозой:

— Это тебе не Лейпцигский процесс. Не Моабит, где вы жили словно на курорте, здесь ты у меня заговоришь, скотина...

С разрешения начальства мы создали "Комбед", то есть Комитет помощи бедноте. Трогательная забота о людях, не имевших денег. Как же, гуманность все-таки.

Люди денежные, прозванные "капиталистами", при

выписке продуктов из ларька выделяли для неимущих десять процентов.

В такие дни оживлялись наши камерные мальчишки. Их было человек пятнадцать. Кто бы мог прислать им деньги, когда папы и мамы на их глазах были арестованы как враги народа? 12, 13 и 14-летних "преступников" на допросы не вызывали, а время от времени забирали для отправки — как мы потом установили — в детские колонии, а на их места сразу же поступали новенькие мальчишки, начисто растерянные. Их появление камера встречала пасмурным молчанием. У большинства были дома дети, и кто знает, что там с ними?

Новый арестованный Бутягин произвел на всех неприятное впечатление.

Мальчишки разглядывали Бутягина с любопытством и восторгом. "Командарм, — ого-го, сам Киров был у него членом реввоенсовета, шутка ли!"

Мы дали Бутягину лучшее место на общих нарах из уважения к его возрасту и заслугам, и многие, долго ожидавшие своей очереди на лучшие места, безропотно с таким решением согласились.

Один из бывших военных узнал Бутягина, бросился к нему... и тут же осекся. Бутягин отвернулся и сказал с расчетом, чтобы услышала вся камера:

— Извините, я вас не изволю знать... что-то не припомню. И вообще у меня нет никакого желания разговаривать с врагами народа. Ясно?

Сто девяносто восемь иронических, презрительных, злых и снисходительных улыбок. Больше снисходительных. Песенка старая, хорошо всем знакомая. С большим изумлением из нас на первых порах такое бывало, когда мы впервые переступили порог тюремной камеры... Но у Бутягина это прозвучало как-то особенно: неприятно-высокомерно, оскорбительно и обидно. Мальчишки сникли. Их первоначальный восторг был погашен, словно ведро ледяной воды было вылито на горящую спичку.

— Да... — сказал кто-то растянуто.

Люди стали расходиться по своим местам. Жизнь потекла установленным порядком.

При выписке продуктов из ларька Бутягин наотрез отказался выделить что-либо в Комбед.

— Дорогой, — обратился к Бутягину Благой Попов, — вы, вероятно, считаете себя коммунистом? А?

— Только поэтому, — желчно выпалил Бутягин, — у меня нет никакого желания кормить за свой счет врагов народа.

Под сдержанный шум высоченный Трояновский, бывший ответственный сотрудник американского торгпредства, резко поднялся на ноги и, став в театральную позу, очень похожую на позу Качалова в роли Барона в пьесе Горького "На дне", сказал Бутягину со слезой в голосе:

— Ах! Ах, сжальтесь над нами, несчастными врагами народа, и выделите для нас, неимущих, хоть что-нибудь. Очень просим вас, паршивый сталинский пес! Коммунист, называется!

— Да, коммунист, а что? — зло и резко бросил Бутягин.

Трояновский мгновенно очутился рядом с Бутягиным, сокамерники двинулись за ним следом, готовые...

— Как у тебя повернулся язык, негодяй, отказать в помощи голодным людям, вот этим истощенным мальчишкам? Ведь даже тюрьма нас кормит, врагов народа...

И, резко повернувшись, Трояновский грубо набросился на стоящих за его спиной.

— А вы чего? Сырым мясом запахло? А ну, на свои места, "помощнички", без вас обойдусь. Озверели, что ли? Ну!

Никто не тронулся с места. Трояновский быстро повернулся к Бутягину и подчеркнуто-отчетливо произнес:

— Садануть бы тебе по твоей противной харе... Корооче, предлагаем тебе пошевелить своими тощенькими извилинами.

— Откуда они у него? — вмешался Благой Попов. — И не в извилинах дело — совесть у него требует ремонта...

— От избытка марксистической ортодоксальности, — добавил бывший слесарь автозавода имени Сталина, — она у него надтреснулась.

Вся эта сцена на Бутягина не произвела решительно никакого впечатления.

— Своих решений я не меняю, — сказал он твердо и спокойно, — знаться и разговаривать с вами, а уж тем более кормить — не желаю. Ясно? Не буду я кормить тех, кто в девятнадцатом году рубил наши головы!

— Вы сволочь, а не большевик, — крикнул ему один из мальчишек, — мой папа бы...

— Славка! Да ты что? Не смей реветь, не унижайся. Прекрати, ну!

Тишину нарушил вопрос Благоя Попова:

— Интересно, а какое решение примет наш уважаемый староста камеры?

Я не сразу нашел, что ответить.

— Бутягин нарушил тюремный режим, и я его лишаю права на выписку продуктов из тюремного ларька. А если он захочет, мы можем ему выделить кое-что из фонда Комбеда.

Одобрительное гудение и смех. Затем в адрес Бутягина посыпались уничтожающие реплики, возгласы и угрозы. Я ожидал успокоения, а назревала опасность расправы. Тот, который узнал Бутягина, бывший боец одиннадцатой армии, приблизился к Бутягину со стиснутыми зубами:

— Мало того, — сказал он хрипло, — что наши следователи считают нас врагами народа, так еще ты, уродина...

Я, Попов и Трояновский едва оттащили его от Бутягина. Лицо его перекошилось. Вырвавшись, он упал на кафельный пол, обильная пена текла из его перекошенного рта. Он зычно орал на всю камеру:

— За мной! Бей гадов! Смерть белякам!

Двое прижимали его голову к полу, чтобы он не разбил ее... а он орал во всю глотку "ура!".

— Видишь, чего ты натворил, паразитина? — сказал

Бутягину бывший слесарь. — Да я тебя, блядюгу...

И этого нам пришлось оттаскивать...

И тут Бутягин в одних носках стремительно соскочил с нар и бросился к двери. Прижавшись спиной к ней, он колотил руками и ногами, истерически вопя лишь одно слово:

— Откройте! Откройте!..

На пороге появился корпусной. Все замерли. Он медленным взглядом обвел всю камеру.

— Кто стучал?

— Я стучал, я! — опередил Бутягина слесарь. — Нужен врач, у него снова припадок, видите, еще бьется об пол...

— Неправда, неправда! — заорал Бутягин. — Это я стучал. Я прошу меня оградить от них... умоляю вас, вызовите меня в коридор, я вам все объясню... это звери, а не люди!

Едва захлопнулась за ними дверь, поднялся неимоверный шум. Мальчишки были взвинчены до предела.

На пороге появились корпусной и Бутягин...

— Староста, — обратился он ко мне, что вы тут сделали с этим стариком?

— Да ничего особенного, — как можно спокойней ответил я, — Бутягин нарушил тюремный режим, отказавшись от участия в Комбеде, и я лишил его ларька, но не лишил его возможности получения помощи из фонда Комбеда. Вот и все. Так что напрасно вас потревожил этот арестованный. Ни к чему.

Корпусной взял Бутягина за подбородок и с силой повернул его лицо к себе.

— Ты чего отворачиваешь свою харю? А? И почему ты стучал на всю тюрьму? Еще раз постучишь, старая сука (мальчишки даже взвизгнули от наслаждения), сходу загудишь в карцер. Староста тебе объяснит, что это такое. Валяй на свое место, развалина в шинэле, ну!

Дверь медленно закрылась. Мы молча торжествовали, однако недолго. В камеру пришел сам начальник тюрьмы в сопровождении чуть смущенного корпусного.

— Ставлю вас в известность, староста, что Комбед де-

ло сугубо добровольное и лишение арестованного ларька — прерогатива начальника тюрьмы, так что выпишите ларек арестованному Бутягину...

— Спасибо, товарищ начальник, — сказал Бутягин. Камера грохнула от хохота.

Начальник тюрьмы брезгливо сморщился:

— Серый волк в брянском лесу тебе товарищ, а я для тебя гражданин начальник. Следовательно тебе этого не говорил?

— Его еще не вызывали, — шепнул корпусной.

— Ах, еще не вызывали. Ну, так вызовут и скажут. Обязательно вызовут и скажут. Ясно?

Готовясь идти на свой первый допрос, Бутягин тщательно разглаживал свою гимнастерку и приводил в порядок "прическу", стараясь быть по-воински подтянутым. По всему было видно, что, несмотря на преклонный возраст, у него есть еще порох в пороховницах.

Едва за ним закрылась дверь, Благой Попов настоял, чтобы камера объявила Бутягину бойкот. Принято было единогласно.

— Да я плевать хотел на ваш бойкот, — грубо сказал Бутягин, вернувшись с допроса, — испугали бабу большим хреном.

— А ты бы поменьше плевался, верблюд, а то гляди — доплюешься, — сказал ему Благой Попов.

— А что вы меня пугаете? Видели мы таких. Ну, что мне ваш дурацкий бойкот, что?

— Значит, вас интересует что? — сказал я ему, и мальчишки в один миг очутились на нарах возле бутягинских пожитков. — Приступили, ребята, — скомандовал я.

Они только того и ждали. Вещи Бутягина под дикий гогот полетели к параше. Кто-то открыл в это время крышку, и часть вещей Бутягина угодила в самое дерьмо.

— А теперь иди на свое место, к параше, — объявил я ему.

— Ну, и пойду, подумаешь, — огрызнулся он.

А в это время слесарь крикнул ему:

— Эй, Бутягин, гляди-ка, в параше тонет твоя буденовка, иди спасай ее!

— Расхохотались, — желчно сказал Бутягин, — нашли, над чем смеяться, подонки! Кто вы для меня? Самая настоящая антанта. Нашли, кого напугать парашей. Плевать я на вас хотел!

По условиям бойкота никто не имел права разговаривать с Бутягиным и давать ему какие-нибудь советы. Его лишили права пользования книгами из библиотеки. Он должен был три раза в день раздавать пищу, собирать посуду и тщательно ее промывать. В банный день он оставался в камере для производства генеральной уборочки и прожигания клопов, а также для мытья пола. И, наконец, он обязан был дважды в день выносить из камеры тяжелую парашу в коридорный туалет и там ее опорожнять, тщательно промывать и дезинфицировать...

— Не будешь этого делать, — сказал ему жестко Благой Попов, — или пойдешь жаловаться начальству, имей в виду, скотина, задавим тебя под нарами и сообщим, что ты сам наложил на себя руки. Нам поверят. Для них случаи самоудушения под нарами не новинка. Мы тебе покажем, проклятый идиот, какие мы враги народа, будешь нас помнить и на этом, и на том свете, па-даль!

И пошла борьба. Камера и Бутягин.

Мальчишки радовались больше всех. Они без всякой надобности подходили к параше, чтобы лишний раз окинуть Бутягина презрительно-уничтожающими взглядами и шумно закрыть крышку: на, мол, тебе! А Бутягин не переставал чертыхаться и оскорблять нас.

Мне казалось, что это была пустая затея, что не мы Бутягину, а он нам объявил бойкот и что ему было намного легче, чем нам...

Бывший редактор газеты "Известия" Стеклов-Нахамкис, поступивший к нам уже после объявления бойкота, категорически отказался принимать участие в нем, обо-

звав нас дураками. Когда Бутягина вызывали на допрос, Стеклов-Нахамкис рассказывал нам о заслугах Бутягина, о его трагическом конфликте с современностью и лично с Ворошиловым, Буденным и Сталиным...

— В отличие от Ворошилова, Буденного и Тимошенко, закончивших военные академии, Бутягин, — рассказывал Стеклов-Нахамкис, — считал это блажью, хотел жить за счет старых заслуг и значительно отстал от требований партии, от задач растущего технического прогресса, став ненужным и бесполезным...

Эпоха гранат, тачанок и клинков осталась позади, а для выполнения какой-либо сложной работы в современной армии у Бутягина попросту не хватало ни знаний, ни образования, ни опыта. Никто его заслуг не отрицал. В праздники Бутягину оказывали положенные почести, усаживали в президиумы собраний, конференций и даже съездов, отмечали в приказах, выдавали путевки и премии...

Прошлые заслуги душили его. Он завидовал бывшим коллегам, а еще больше молодым специалистам, на которых Сталин делал ставку.

— Что вы знаете, — говорил Стеклов-Нахамкис, — о его героизме, о его принципиальности и о его непоколебимой преданности идее коммунизма? Да вы лучше не спорьте со мной, — сердился Стеклов-Нахамкис — как вы понимаете, я информирован больше, чем вы. И там, на свободе, многим уже стало ясно, что Сталин под предлогом укрепления тыла убирает со своего пути не только тех, кто представляет опасность для его власти, не только тех, кто значительно умнее его, но и таких, как Бутягин, который сегодня мешает ему...

Бутягин и на воле плевал на всех и настырно обивал пороги высоких учреждений, добиваясь работы, достойной его прежних заслуг. Молодые люди в этих учреждениях относились к нему с пренебрежением и отказывали ему. Бутягин запил.

Чтобы избавиться от его назойливых хождений и настояний, Бутягина назначили директором какой-то кар-

тографической фабрички, и он закатил в ЦК партии грандиозный скандал, нецензурно бранясь, не щадя в оскорблениях самого Сталина, которого он считал главным виновником своей трагедии. В тот же день он пытался попасть на прием к своим старым друзьям Буденному и Ворошилову, но те отказались принять его. Бутягин нализался до такой степени, что угодил в вытрезвиловку, где с ним больше разговаривали на языке кулаков...

— О-го-го, — говорил мне со значением Благой Попов, — бойкот в тюрьме — это страшная штука. Не все выдерживают, были и такие, которые кончали собой. Вот ты увидишь, как он взвоят.

Бутягину было необычайно тяжело. Уж не знаю, как морально, а физически — невероятно. Старик терял силы, но пощады не просил, и я был убежден, что и не попросит, а попробуй проявить жалость — куда там, загрызут живьем, только пикни...

И вот однажды повели нас на вечернюю opravку. Вертухай открыл камеру, и Бутягин, только что вернувшийся с допроса, вместе с дежурным по камере вынесли до краев переполненную парашу... Как всегда, несли очень осторожно, не дай господь выплеснуть из нее хотя бы капельку.

Мы медленно шли следом за ними, словно в похоронной процессии...

Пройдя несколько метров, Бутягин попал ногой под ковровую дорожку и, споткнувшись, упал, опрокинув парашу...

Чрезвычайное происшествие! ЧП! Сразу же появились откуда-то дополнительные дежурные, и нас, в обход образовавшейся на ковровой дорожке лужи, стали быстро загонять в туалет, оставив Бутягина одного для уборочки...

Мне до сих пор не забыть выражения лица Бутягина, постаревшего и испуганного, когда опрокинулась на пол параша. Все понимали, что карцера ему не миновать, а ведь у него начались допросы...

Возвращаясь в камеру, мы увидели, как старик ползал на коленях, убирая голыми руками содержимое парашаши в ведро, под дикое улюлюканье дежурных по коридору, молоденьких и бессовестных идиотов. Бутягин дрожал от холода, ибо окна в коридоре были распахнуты настежь и пары морозного воздуха наполнили коридор. Вертухаям что? Поодевали свои романовские полубубки, а Бутягину каково?

Мы прошли мимо Бутягина с опущенными головами, стараясь не встретиться с ним взглядами. И он не желал смотреть на нас и не искал нашего сочувствия, деловито продолжая свою уборочку, клацая от холода зубами.

Бутягина втолкнули обратно в камеру, посиневшего от холода. Как сговорившись, мы все отвернулись от него. А он уселся около своей парашаши спиной к нам и тихонечко заплакал...

Никогда еще в камере не было такой тишины, такого жуткого напряжения. До нашего слуха доходили звуки с трудом сдерживаемых всхлипываний Бутягина и слова еврейской молитвы реб Нухема... Даже мальчишки, и те дрогнули. Они стали шепотом просить разрешения помогать Бутягину... ну хотя бы в переноске такой тяжелой парашаши...

— Мы ведь пионеры, — убеждали они меня, — ну, разрешите...

— Ни в коем случае, — ответил за меня Благой Попов, — этого ни в коем случае нельзя делать! Бойкот есть бойкот!

— Ну, разрешите, — умоляли меня ребята, — он ведь такой старенький и слабый, у него ведь допросы идут, как же вы...

— Нет! — заорал я, чтобы самому не разрешиться.

В этом тюремном котле имени Иосифа Виссарионовича Сталина перед горем все были равны. Все! Идеальнейшее равноправие!

Даже самые упорные при виде тихонечко плачущего возле парашаши Бутягина не выдержали. Все стали отворачиваться от него и друг от друга, пряча лица в книги, в

тряпье на нарах, глядели в сторону решетки, а многие залегли под нары. Это был плач по секрету, тайком друг от друга.

В камере витал дух прощения. Одно лишь слово — и бойкот был бы снят. Одно лишь слово. Но никто не решился его произнести. Ни один! Только мальчишки.

— Да вы что? — говорил я им. — Где же ваша гордость и принципиальность? Вы хотите, чтобы Бутягин считал себя победителем? Пока он не осознает...

И Бутягин осознал...

В день этой злосчастной истории с опрокинутой парашашей Бутягина поздно вечером вызвали на допрос, и утром его принесли на носилках в камеру всего окровавленного, и, спустя не более часа, забрали снова.

У Бутягина началась всем нам хорошо знакомая полоса дичайших, жестоких и невероятно напористых допросов, до результатов.

Едва его приносили, он, совершенно обессиленный, сразу же ложился на свое место, около парашаши, на свою потрепанную шинель, лицом вниз, тяжело и часто дыша. И когда через короткое время его вызывали снова, мы видели, с каким трудом Бутягин поднимался на ноги.

О, как нам это было знакомо! И как мы все понимали тяжесть его положения! И как он был фантастически одинок!

Стало особенно тяжело и даже невыносимо, когда следствие Бутягина подошло к концу, к завершению, и камера все чаще и чаще стала наполняться его неудержимыми рыданиями... Командарм, легендарный Бутягин, навзрыд рыдал около тюремной парашаши!

И когда Бутягина, совершенно обессиленного, вызвали на очередной допрос, из-под нар пулей выскочил один из мальчишек. Он подлетел ко мне задыхаясь:

— Все вы, все до единого, ужасные, злые люди, и мы вас больше не любим... Вы как хотите, это дело ваше, а мы под нарами постановили, что больше не будем принимать никакого участия в вашем противном бойкоте, и

мы там под нарами поклялись именем Ленина. Мы твердо решили...

Он разрыдался, и ребята его окружили, успокаивая. Боже! Все мы вздохнули с облегчением.

И лишь Благой Попов мрачно сказал:

— Вы как хотите, конечно. Это дело каждого. Но я от бойкота не отказываюсь. Уж лучше я подохну с голода, чем буду получать от него подачки.

Поднялся страшный шум. Все набросились на Благоя Попова.

И тут в дверях появился вернувшийся с допроса Бутягин... Узнать его было невозможно.

Когда за ним захлопнулась дверь, Бутягин не пошел, как всегда, к своей параше, он остановился, тяжело и часто дыша, держась одной рукой за дверной косяк... По морщинистому лицу, заросшему седой щетиной, текли слезы, засохшие губы скривились в странной улыбке...

С каким-то вырвавшимся из него воплем Бутягин упал перед нами на колени и хрипло произнес:

— Дорогие мои... несчастные друзья мои, я умоляю вас простить меня, старого дурака, ведь я...

Он поднялся на ноги и, протянув к нам руки, продолжал:

— ... вы должны понять меня... откуда я мог все это знать? Отку...

И, не завершив фразы, Бутягин, словно пружина, стремительно выпрямился во весь рост и через мгновение рухнул навзничь...

Падая, он виском ударился с силой о чугунную крышку параша... Мы бросились к нему...

Бутягин скончался на наших глазах, не приходя в себя... Некоторые стали креститься... реб Нухем тихонечко молился... А кто-то истерически заорал: "Будь ты проклят, сволочь!" — но никто не обратил на него никакого внимания...

Мы стояли с обнаженными головами, когда его маленький труп выносили из нашей камеры... Мальчишки под нарами горько плакали...

К нашему большому горю прибавилось еще одно...



*Анри ВОЛОХОНСКИЙ*

## ТРЕЛІ БАКАЛАВРА

### ВОЗДУХ

Как эта легкая тетрадь  
 Потратив тонкие листы  
 Летит куда-то трепетать  
 В теченьях чудных и простых  
 Так просто это и смешно  
 Так жалко это и угрюмо  
 Что быть мешком могло должно  
 Летит покинув брюхо трюма.  
 Непостоянное трюмо  
 Стояло б прямо как гора  
 Перед которою гумно  
 Кричало пахарям "ура"  
 Они искусственным дыханьем  
 Вздымали нивы груди плугом  
 Оно — землистое плесканье  
 Работой было и досугом  
 Мычащее брело на выгон

Сопровождаемое догом  
 Грозило безопасным рогом  
 Опиленным провидцем-пастухом  
 И почва заступом дробима  
 Взлетала глаз ослепших мимо  
 Под бирюзовым потолком.  
 Так пыли легкие носилки  
 Не отягчают наши груди  
 Сменили пахаря косилки  
 Освобожденный труд не труден  
 Изобретатель сбросил орден  
 С изобретательной груди —  
 Сияют дали впереди  
 А позади скучает галка  
 А наверху всплывает пена  
 Внизу скучают черви: "жалко  
 Нам тех кто не избегнул жизни тлена"  
 Механизатор на приколе  
 Пульверизатором орудует  
 Ах! Мы в природе словно в школе  
 Часы досуга ей даруем  
 И нам — творящая способность —  
 Крайне важная подробность  
 Дыши как можешь: даже мышь  
 Себе домой несет камыш.

#### **ПЕСНЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ**

Настанет ночь, померкнет свет  
 Погаснет луч кривой  
 Над синим "да" витает "нет"  
 Изнанкой роковой

Над синим нет летает да  
 То к нам летит звезда  
 Она несет нам иногда  
 И гаснет никогда

Над белым тот витает то  
 Что словно ночь черна  
 Она про то что нет ничто  
 Пропела мне она

И пусть той ночи хладный куст  
 И хладен весь и пуст  
 Она то око возле уст  
 То снова гаснет пусть

*Холм Гева, 1975*

#### **МАТЕРИЯ НЕЖНАЯ**

Себя храня и не желая  
 Себя ни капли потерять  
 Матерья ходит дорогая  
 Себе к ручью белье стирать

Волной плескаясь и смеясь  
 Вода ее уносит грязь  
 Висит над нею словно князь  
 Причинноследственная связь

Одной рукой она стирает  
 Другой крутя — бельишко жмет  
 Иною — этой помогает  
 Иною — с бабочкой играет  
 И тихо песенку поет:

Одна в прохладной синеве  
 Я вышиваю по канве  
 В пустынном круге я одна  
 Дарую вихрям знамена  
 Среди созвездий и столетий  
 Совсем одна на белом свете

И мне любовника не надо  
 Пусть так и буду я одна  
 Ведь в мире нет иного клада  
 Как только склада из меня

Я ось пространственной короны  
 Мерца перьями зари  
 Влеку на голубом понтоне  
 Сквозь электронов янтари

И мира улей ловко я  
 Наполню медом бытия

Его одену смыслом воска  
 Снаружи побелю известкой ...

К столбу последнего устоя  
 Я принесу белье свое простое

И там повешу на ветру  
 Чтобы высохло к утру.

*Из цикла "Трели бакалавра"*



*Илья РУБИН*

## ГОРЕЧЬ ПАМЯТИ

x x x

Я так хочу, чтоб научились Вы  
 Насвистывать, пока я повторяю:  
 "Уж нет бунтовщиков на площадях Москвы,  
 А я и в смерти Вас не потеряю".

На берегах японских островов,  
 Где так печален йодный запах мидий,  
 Смеется весело наш маленький Овидий,  
 Наш Даниил среди беззубых львов.

Исчезла горечь памяти моей.  
 Людских сердец непрочные союзы—  
 Они печальны, как судьба медузы  
 На лоне этих штормовых морей.

Так далеко останется Москва,  
 Что жизни всей не хватит мне на сборы,  
 И станут мной бедны ее соборы,  
 И станут мной печальны острова!

Уж нет бунтовщиков на площадях Москвы...  
 Я ухожу за ними год за годом —  
 Так далеко, что все пропахло йодом —  
 И даже письма, что писали Вы...

### Из цикла "ХОЗЯИН"

Об этой нежности не стоит горевать.  
 Войду в приемную, где секретарши грубы.  
 Отдам чиновнику лицо свое и губы,  
 Не смея зеркало по имени назвать.

Я стал другим. Хозяин, поспеши  
 Мне проворчать свои распоряженья.  
 Слепая плоть созрела для движенья  
 В перегорелом остове души.

Костяшки счетов двигать тяжело,  
 Когда Хозяин за спиной хлопочет,  
 Когда Хозяин выслужиться хочет,  
 Когда вокруг и голо, и светло.

Я стал другим. Хозяин в небесах  
 Все плачет обо мне, все суетится.  
 А мне о нем и думать не годится,  
 Я только гиря на его весах.

x x x

Во Францию два гренадера  
 Из русского плена брели...

Идут на плаху три еврея. ГЕЙНЕ  
 Идти бы надо не спеша,  
 Да тело молит: "Поскорее!",  
 Пока готовится душа.

Идут на плаху три еврея.  
 Им далеко еще идти.  
 Рассвет гнилой, как гонорея,  
 Уже встречает их в пути.

Еще не вечер. Три еврея  
 Идут на плаху — отдохнуть,  
 Пока эпоха матерееет,  
 Вовсю выкатывая грудь.

Один — старик белобородый,  
 Несущий на руках сирот.  
 Загубленный чужим народом,  
 Он, может быть, и есть — народ.

Другой — нелепый стихотворец.  
 Ему шагается легко  
 Сквозь итальянский светлый дворик  
 До хрупкой смерти рококо.

А третий — истиной люблюю  
 Он забавлялся, как вдовой.  
 А третий — это мы с тобою,  
 Товарищ непутевый мой.

Твое лицо с моим смешалось...  
 О чем бы нам поговорить?  
 Просить прощенья, бить на жалость,  
 Или за честь благодарить?

О чем молчать, когда звереют  
Зеваки на твоём пути?  
Идут на плаху три еврея.  
Им далеко ещё идти...

### ЗАВТРА

Когда свобода снова стала тесной,  
Ударил в ноздри крепкий запах чая,  
Печальными путями Поднебесной  
Пошла пехота, звезд не замечая.

А Родина — ни в чем не виновата.  
Средь кукольных полей просторно танкам.  
Идут вперед рязанские ребята,  
Разваливая ляжки китайнкам.

Там — не поймешь, бормочут по-каковски,  
И несть числа раскосым миллионам.  
Но медный Будда грузен по-московски,  
И словно журавли летят драконы.

Там, как на Марсе, — горы да каналы,  
Но пушки наши — словно телескопы.  
Но жалости не знают генералы.  
Но высоты не ведают окопы.

Как в Праге — страшно. Вновь прощенья нету  
В который раз остановиться поздно.  
Лежит под нами мертвая планета.  
И трупы женщин холодны, как звезды.

А. Б.

х х х

Один — без жены, без подруги.  
Приятеля сплавив в Москву,  
Неделю я прожил на юге.  
Не зная, зачем я живу.

Бездельем измученный странник,  
Все ждал я чего-то — и вот  
Меня заманил в обезьянник  
Скучающий экскурсовод.

В тени сикомор и бананов  
Жестокий Господь сотворил  
Печальный разврат павианов  
И страсть кривоногих горилл.

Их пальцами тычут мальчишки,  
Ланцетами режут врачи,  
Но бредят любовью мартышки,  
Вздыхают о ней носачи.

Простерлось над клетками небо,  
Бесстыдно себя оголя.  
Окраиной Божьего гнева  
Мне вдруг показалась Земля.

И женщина в белой панамке  
Меня поманила рукой.  
И горечь отвергнутой самки  
Я в ней обнаружил с тоской.

Мы с нею купались и ели,  
И вечером были в кино.  
И ангелы Божьи летели.  
Как бабочки, в наше окно...



*Профессор Андрэ ЛЬВОВ  
Лауреат Нобелевской премии,  
Франция*

## ИСКУССТВО, НАУКА И ИГРА

Несколько месяцев тому назад Олимпийские боги избрали меня для прочтения вступительной лекции при открытии Французского Центра Культуры и Науки. Сопоставляя все обстоятельства, я думаю, что выбор был сделан совместно Афиной и Аполлоном, которые, к сожалению, оказались на этот раз в согласии. Как бы то ни было, решение было, как обычно, сообщено мне вестницей богов Иридой. Вестник богов всегда принимает при исполнении своих обязанностей человеческий облик, и на этот раз, я не знаю почему, он принял облик Генерального Представителя Вейцмановского института во Франции. Мне не оставалось ничего

---

Лекция, прочитанная в Институте Вейцмана по случаю открытия Французского Центра Культуры и Науки имени Г.Майера.

иного, как согласиться, и мне не о чем ином говорить, кроме как о культуре. Как отметил Кьеркегор, дело становится действительно серьезным, когда внешняя сила заставляет кого-нибудь заняться делом, не соответствующим его склонностям. Мои склонности никак не лежат в направлении философских рассуждений, так что испытание было серьезным.

У каждого ученого есть своя мания. Моя мания заключается в стремлении точно определять термины, которыми я пользуюсь. Однако у меня не было претензии дать мое собственное оригинальное определение культуры. Я обратился к словарям, прочитал многочисленные статьи и просмотрел книги, в которых говорится о культуре.

Трудность заключается в том, что, в зависимости от страны, эпохи, дисциплины и личных пристрастий авторов, слово "культура" употребляется в очень различном понимании. Мы имеем свыше ста пятидесяти определений "культуры". Это слово, которое страдает от избытка своих значений, ибо функционирует как понятие во множестве разнообразных контекстов: историческом, этнологическом, политическом, воспитательном и т.д. По-видимому, дошло до того, что возникает сомнение в том, не следовало ли бы вообще отказаться от термина "культура".

В этой связи хотелось бы рассказать об одном случае, произошедшем со мной. Однажды после исполнения некоторых обязанностей в университете я оказался за ленчем в обществе короля, епископа, ректора и одного очень известного гуманитария, который написал замечательные и знаменитые книги о философии некоторых отдаленных эпох. Кто-то имел неосторожность употребить слово "культура". Гуманитарий взорвался: "Не существует такой вещи, как культура!" Механически я открыл книгу этого гуманитария и убедился в том, что слово "культура" встречается в ней много раз. Очевидно, трудно избежать употребления некоторых

слов, даже если они либо совершенно лишены смысла, либо обладают слишком многими смыслами.

Каждый знает, простите меня за столь элементарное высказывание, — слово есть лингвистический сигнал, состоящий из двух различных компонентов: формы и содержания. Форма есть последовательность фонем. Содержание — это попросту смысл, а смысл слова дается его определением.

Все это звучит очень просто, но дело осложняется тем, что кроме определения мы имеем еще и "значение", то есть интерпретацию смысла слова, которую каждый строит для себя в рамках этого смысла. Такие слова, например, как "свобода" и "демократия" имеют существенно различные значения, в зависимости от контекста и в связи с политическими убеждениями того, кто эти слова употребляет. Более того, слова далеко не нейтральны: они обладают могущественной и странной силой убеждения, внушения или очарования. Они могут быть заряжены эмоциями и страстями, они могут возбуждать или успокаивать дух, потому что "нагруженные" слова могут вызывать целый комплекс телесных или душевных реакций, которые, по существу, представляют собой условные рефлексy. "Культура" — это одно из таких слов.

.....

Часто говорят, что нет цивилизации без культуры и нет культуры без цивилизации. Действительно, как общее правило, цивилизация и культура развивались одновременно и глубоко влияли друг на друга, тесно проникая одна в другую. Начиная с определенного уровня развития, культура и цивилизация становятся неотделимыми. Эта связь становится очевидной в Афинах времени Перикла.

" **Paideia** ", воспитание, которое получал молодой грек, обеспечивало развитие его тела так же, как и духа. Для специфических нужд города-государства

" **paideia** " создавала граждан, образовывавших однородное общество. Ее эффективность была основана на том, что она обращалась к людям, которых целые поселения рабов освобождали от необходимости заниматься ручным трудом, к свободным людям, обладавшим досугом, необходимым для того, чтобы рафинировать свое мышление и свои вкусы. Этот досуг давал им и возможность праздновать свое согласие с миром в "благородных играх", к которым мы еще вернемся ниже. Глубокая религиозность, любовь к своему городу, напряжение, создававшееся войнами, которые всегда были близки, — все это поддерживало динамизм, ставший одним из факторов того чуда, каким была Греция.

Существуют, конечно, и общества менее развитые, чем Греция V века. Но как бы примитивно оно ни было, каждое общество содержит в себе эмбрион культуры, и только благодаря этнологам эта культура стала в большей или меньшей мере синонимом цивилизации.

"Культура или цивилизация, — писал Тэйлор в 1871 году, — рассматриваемые в самом общем историческом смысле, — это цельный комплекс, включающий в себя науки, верования, искусство, мораль и все другие способности или навыки, приобретенные человеком как членом определенного общества".

## ИНСТИНКТ ЭМОЦИЙ И РАЗУМА

Так вот, попытаемся определить то состояние культуры, обладание которым создает культурного человека. Это трудная задача, потому что культурный человек характеризуется весьма сложной группой качеств. Следуя хорошему правилу, мы обойдем трудности и начнем, так сказать, с негативного конца, то есть с исключения того, что не относится к культуре как к определенному состоянию.

Для этого представим себе ученого, который владеет всеми различными областями своей дисциплины — скажем, математики. О таком человеке можно сказать, что он обладает солидной математической культурой. Но если его познания ограничены только математикой, если его любознательность простирается только на эту частную область, то никто не назовет его культурным человеком. Это заключение относится ко всем областям, включая и литературу. Последнее замечание может показаться несущественным или даже излишним, но оно оправдано тем фактом, что некоторые "литераторы" полагают себя единственными и исключительными представителями культуры. Они склонны рассматривать науку как нечто второсортное, потому что они не могут понять ее. Поэтому они третируют научную культуру как нечто пренебрежимое и вряд ли заслуживающее внимания.

В прошлые времена образованный человек мог без особого труда овладеть всей суммой человеческих знаний. По мере того как наука — в широком смысле этого слова — развивалась, это становилось все более и более трудным. Профессиональная работа требовала углубленного знания все более узких областей, и становилась очевидной тенденция к специализации в определенных сферах. В результате возникла ситуация, когда многие из тех, кто занят "интеллектуальной" работой, противопологаемой "ручному труду", не являются культурными людьми.

Если принять такой подход, то мы должны прийти к выводу, что погружение в изучение определенной ограниченной области само по себе еще не создает культуры как состояния. Добавим к этому, что то же относится и к погружению в изучение нескольких областей.

Широкая эрудиция — это не синоним культуры. Элементы знания — это только орудия для создания культурного человека, хотя, конечно, это необходимые орудия. Нельзя считать культурным человека, который

ничего не знает об архитектуре вселенной, о происхождении и истории земли, о структуре атома, о различных аспектах жизни и, наконец, о том, как функционирует человеческая машина. Никто не может считаться культурным, если он не знаком с историей человечества и с продуктами различных культур и цивилизаций. Но от культурного человека требуется, чтобы он не просто усвоил определенные знания, но прежде всего чтобы он ассимилировал эти знания, осмыслил их и овладел ими.

Поскольку искусство является существенной частью цивилизации, культурный человек не может быть лишен чувства красоты. Таким образом, понятие культуры как определенного состояния охватывает область не только рассудка, но и чувств. По Шиллеру, ее задача в том, чтобы поддерживать равновесие между "инстинктом эмоций и инстинктом разума".

Культура, как состояние, должна создавать эстетические оценки и надежность вкуса. Она призвана освободить дух от догматических верований, стремлений и мод. Здесь независимость становится синонимом свободы. Свободный человек — это тот, кто в состоянии думать самостоятельно. По Андре Мальро, культура "дает человеку способность задавать вопросы миру", и это попадает в самую точку.

Однажды, просматривая старинное собрание мифов, я наткнулся на такое необычное замечание: "Феникс — это настолько редкая птица, что можно усомниться в ее существовании". Это можно сказать и о том культурном человеке, которого мы имеем в виду. Действительно, культура — это идеальное состояние, к которому можно приближаться, но которого никогда нельзя достигнуть. Предположим тем не менее, что культурный человек — хоть и редкий и несовершенный — все же существует. Тогда он должен быть патрицием, то есть лицом привилегированным. Несомненно, что он частично обязан своими привилегиями образованию, которое он получил, и влиянию окружающей среды. Но он

обязан также и развитию его собственных внутренних тенденций: способности и желанию учиться, проникать вглубь, любопытству, простирающемуся на много различных областей, — я сказал бы даже — универсальному любопытству.

В наименьшей степени его привилегии созданы его способностью понимать, оценивать, любить. И в конечном счете он обязан своей способности воспринимать разнообразные элементы различных цивилизаций, что требует восприимчивости, толерантности, умения разделять и — чтобы быть откровенным — известной меры скептицизма.

Культура как состояние, по-видимому, есть принцип различения и элегантности. Нелегко разделить роль наследственности и внешних факторов в формировании духа, но несомненно, что вклад генетики в способность создавать культуру весьма значителен, ибо среди детей, происходящих из одной и той же среды и получивших одинаковое образование, лишь у немногих развивается дух подлинной культуры.

Если простое обучение и усвоение знаний еще не создают культуры, то мы должны задать себе вопрос, каким же образом участвуют эти "орудия" в создании культурного человека. Иными словами: из чего состоит культура как определенное состояние, что она собой представляет?

### ДУХОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

Как показал нам Андрэ Мосе, каждое общество заставляет индивидуум пользоваться своим телом строго определенным способом. Обучение телесной активности — это путь, идя которым социальная структура накладывает свой отпечаток на отдельного человека. "Дети обучаются контролировать свои рефлексы... Страхи подавляются... Импульсы и торможения стано-

вятся селективными...". Одним словом, устанавливаются условные рефлексы.

Жизнь духа, как и жизнь тела, в известной мере управляется рефлексам. В области духа и вкуса создание культурного человека, можно сказать, состоит в выработке комплекса "духовных" условных рефлексов, создаваемых социальной тренировкой человека. Под "духовным рефлексом" мы разумеем процесс, который включает в себя только интеллект и эмоции, исключая участие мышечной системы.

Здесь необходимо отступление. В механической системе автоматизации управляющий компьютер обладает существенным органом, компаратором, задача которого заключается в том, чтобы сопоставлять работу, выполненную машиной, с заложенной в ней информацией и отбрасывать все, что не соответствует этой информации. Конечно, никто не хотел бы снизить мозг до роли простого управляющего компьютера, но центральная нервная система несомненно содержит в себе хорошо индивидуализированные центры, осуществляющие определенные функции: агрессию, жажду, сон, боль, удовольствие.

Мозг — это коммуникационная сеть, в которой функционально специализированные нейроны размещены совместно в отдельных областях, каждая из которых выполняет целый ряд сложных операций. Сколь бы благородны ни были функции мозга, все они без исключения являются результатом функциональных связей и взаимодействий нейронов. Раскрытие потенциалов этих нейронов связано с их стимулированием. Например, отсутствие чувственных стимулов, приходящих от глаза, исключает развитие специфической способности видеть. Более того, опыт и воспитание создают и стабилизируют нервные цепи, которые снабжают компьютер мозга заранее запрограммированными инструкциями к действию.

Эдуард Эррио дал хорошо известное определение культуры: "Культура — это то, что остается, когда

все выученное забыто". Если создание культурного человека состоит в приобретении тех механизмов, о которых шла речь, то эта формула уже не кажется больше парадоксальной. Человек забыл то, что он выучил, но усилия, затраченные на узнавание, привели к дифференциации клеточной системы взаимодействий и обратных связей, которая принимает на себя нагрузку суждения.

Эта система не должна быть отдельным "центром культуры" в смысле скопления клеток мозга. Она может состоять из совокупности нейронов, распределенных по различным областям мозга, таким, как "мозг эмоций", центр удовольствия и т.п.

Чтобы сделать себя культурным, индивидуум должен охватить сумму всего созданного человеком, усвоить то, что Андрэ Мальро называет "всеохватывающим" или что Роже Кэйу имеет в виду под словом "доминанта": сущность цивилизаций. Окультурить себя — означает интегрировать различные составные элементы культуры, как пищу, и построить систему обратных связей, могущую служить инструментом суждения и хорошего вкуса.

Фактически мы не можем представить себе культурного человека, который был бы совершенно невосприимчив к искусству — искусству, которое создает символы и красоту, к универсальному искусству, которое превосходит отдельные частные цивилизации и делает культуру единой и всеобщей.

Здесь нужно отметить один очень важный пункт. Артист, писатель или ученый, знания которого ограничены областью его профессии и который не может поэтому претендовать на звание культурного человека в строгом смысле этого слова, может тем не менее создавать оригинальные произведения или новые идеи, которые становятся элементами знания и культуры. Это относится ко всем дисциплинам и всем областям творческой активности. Можно, следовательно, быть создателем культурных ценностей не будучи культур-

ным человеком. Отсюда, естественно, возникает проблема эстетической и научной активности.

## ТВОРЧЕСТВО И ИГРА

Мы пытались бросить общий взгляд на культурного человека и понять процесс формирования культурного состояния. В заключение может представить интерес попытка проанализировать механизм развития культурных ценностей. Мы выберем для этой цели две системы, удаленные друг от друга так далеко, как это только возможно: искусство и науку. Попытаемся выяснить, что общего есть между эстетическим и научным творчеством и что отличает их друг от друга.

Общим в этих двух типах творчества является элемент игры, ибо оба они принимают участие в игровой активности. Это может удивить того, кто понимает слово "игра" в его узком смысле и не видит его более глубокого значения. "Игра, говорит словарь, есть проявление физической или духовной активности, не имеющей определенной или непосредственно полезной цели; ее оправданием для тех, кто участвует в ней, является удовольствие, которое они от этого получают".

Однако игра — это нечто большее. По Шиллеру, она является подлинным утверждением человека. "Человек играет только тогда, когда он человек в полном смысле этого слова, и он является полностью человеком только тогда, когда он играет". И разум провозглашает: "Человек играет красотой и должен играть только красотой". Шиллер пошел дальше: развивая идеи, изложенные Кантом в "Критике суждения", он сделал игру самой основой эстетической активности. Он подметил также, что связь между игрой и эстетическим творчеством существовала уже очень давно, "живая и активная, она существовала, например, в искусстве и чувствах греков".

Эта точка зрения заслуживает того, чтобы мы несколько задержались на ней. Илиада учит нас тому, что достоинство человека, его мужество и воля к существованию измеряются в сражении. Греческое слово "агон" означает и сражение, и соревнование. Когда сражение прекращается, агон превращается в игру, оставаясь соревнованием. Агон физической силы нашел свое выражение в Олимпийских играх; позже он охватил и область духа. Игра приобретает важное значение в развитии поэзии и театра. Для афинян игра была и выражением благодарности за счастье существования и восхвалением красоты мира.

Действительно, греки рассматривали себя как интегральную часть космоса, хорошо упорядоченной вселенной, где Олимпийские боги регулируют гармонические движения. Боги властвуют над стихиями, вдохновляют и направляют людей и определяют их судьбу. Все, что происходит, является выражением воли богов. Природа, созданная богами, не могла не быть прекрасной. Очень скоро, с самого возникновения ионийской науки, физики, а за ними и философы, обнаружили существование тесной связи между истиной и красотой. Это убеждение было позже обосновано и расширено: достаточно почитать Платона. Во всяком случае, на протяжении столетий сохранялась живая вера в красоту мира.

"Я благодарю Тебя, мой Бог, наш Создатель, — писал Кеплер в своей "Космической Гармонии", — за то, что Ты показал мне красоту Твоего творения, и я наслаждаюсь Твоим созданием". Те же эстетические чувства мы находим и у Анри Пуанкаре: "Ученый изучает природу не потому, что это полезно; он изучает ее потому, что это доставляет ему удовольствие, а это доставляет ему удовольствие, потому что природа прекрасна. Если бы она не была прекрасна, то не стоило бы изучать ее, и жизнь не имела бы цены. Я говорю не о той красоте, которая поражает наши чувства, о красоте качеств и видимостей. Я несколько

не презираю эту красоту, но она не имеет никакого отношения к науке. Я хочу говорить о той более глубокой красоте, которая проистекает из гармонического порядка ее частей и которую может понять чистый интеллект".

## НАСЛАЖДЕНИЕ В НАУКЕ

Для рационалиста жизнь и человек — это случайное событие в мире атомов, движениями в котором не управляет никакое божество, никакой дух. Для рационалиста мир существовал и будет существовать без того, чтобы в нем был кто-нибудь способный познать его. Такое чисто "физическое" мировоззрение побуждает рационалиста анализировать силы, обуславливающие эти движения. Это, однако, ни в какой мере не мешает ему воспринимать величие и красоту мира. Напротив, для современного рационалиста, как и для его греческих предшественников, истина и красота неразделимы.

Чувство красоты связано с приятными эмоциями, и потому поиски истины доставляют удовольствие. Пуанкаре — чтобы снова вернуться к нему — не высказал идеи о связи между научным исследованием и игрой. По-видимому, ему не были знакомы "Письма об эстетическом воспитании человека". В пятнадцатом из этих писем Шиллер, развив концепцию бесцельной игры как основы эстетической активности и утверждая, что человек является подлинно человеком лишь тогда, когда он играет, формулирует свое ключевое положение: "Но, во всяком случае, по отношению к науке это утверждение всего лишь неожиданно". Из контекста ясно, что научное исследование приравнивается им к эстетическому творчеству и что игра кладется в основу обоих этих видов активности. В 1795 году это была дерзкая мысль, и, поскольку наука упоминается лишь в этой короткой фразе, эта мысль,

по-видимому, не привлекла к себе того внимания, которого она заслуживает.

Во всяком случае, в этом положении было — а для многих ученых остается и по сей день — нечто шокирующее. Многие из них могут опасаться, что важность их работы — а вместе с тем и их общественное положение — не будет должным образом оценена, если их деятельность будет рассматриваться как игра. Быть может, они чувствуют, что при этом унижается и их достоинство. Быть может, они опасаются, как бы у "власти стоящие" не усомнились в целесообразности субсидирования игр, сколь бы респектабельны и полезны они ни были. Так или иначе идея "игры" оставалась чуждой многим ученым. Они принимали самих себя всерьез и злились, забывая, что злость сокращает их существование или что так, по крайней мере, учил Спиноза.

Однако, так же как искусство есть незаинтересованный поиск красоты, наука есть незаинтересованный поиск истины, прекрасной по-своему. В творческой науке, как и в эстетическом творчестве, красота, игра и удовольствие тесно связаны; и радость — этому тоже учил Спиноза — возрастает при переходе от меньшего к большему совершенству.

Конечно, ясное понимание взаимоотношений между научным и эстетическим творчеством может быть доступно только культурному ученому, который владеет своей профессией и относится к ней с надлежащей независимостью, кто не станет думать о себе хуже, потому что он уделяет игре должное место в поисках разумного и в поисках истины.

Наш культурный ученый близко напоминает описание мудреца, которое дал Жан-Жак Саломон в своей книге "Наука и политика", противопоставляя его простому и заурядному ученому.

Нужно отметить, что мудрец имеет много общего с ребенком: общим их качеством является именно способность играть. Играя, ребенок познает свое соб-

ственное тело и окружающий его мир; то, что он узнает о них, очевидно, связано с чувством удовольствия. Разве не включается подобным же образом чувственный элемент и в каждый творческий акт, выражающий некую глубоко заложенную тенденцию?

Здесь мы должны отметить, что кроме игры эстетическое и научное творчество имеют и другой общий знаменатель: идею.

Ученый исходит из проблемы и рассматривает рабочую гипотезу. Это рождает идею, которая ведет к эксперименту, а эксперимент ведет к концепции, являющейся конечным продуктом, переходом от частного к общему, синтетической точкой зрения на явление.

Художник получает исходный импульс от субъекта. Эмоция рождает идею, которая является образом картины, самим творением. В этот момент картина уже скомпонована, со всей своей архитектурой, тонами, оттенками и светотенью. Греческое "eidos" есть таким образом видимая форма, или, скорее, то, что воспринимается как форма. Последующее фактическое конструирование — это уже вопрос техники, что, впрочем, не означает, что размышление и чувство не участвуют в этом процессе. Художник не конструирует общей или частной концепции живописи, он пишет. Композитор не имеет перед собой наметки симфонии, концерта или сонаты; в его душе есть только звуки и ритмы. Концепция чужда творческому акту, и это хорошо понимал Шопенгауэр. "Концепция бесплодна с эстетической точки зрения. Идея является источником всякого произведения искусства, достойного этого имени: артист работает по интуиции, по инстинкту". Крик Сезанна: "Я пишу своими шарами"— очень показательен в этом отношении. Так же показателен, как и замечание Пьера Буле: "Если бы прежде чем взять в руки кисть, Сезанн сказал себе: "Я покидаю тюрьму буржуазии", — он пришел бы в глупое противоречие с самим собой и своим художест-

венным творчеством. Он не рассуждал. Он действовал”.

Таким образом, художественное и научное творчество имеют два общих пункта: игру и идею. Однако в одном важном отношении искусство и наука различаются: в то время, как в науке концепция является, и должна быть, созданием ученого, в искусстве концепция, по существу, относится к области историка или философа. Удивительно, однако, что Кант, который всегда был чужд искусству и, если верить Шопенгауэру, обладал очень малой способностью воспринимать красоту, Кант, который, несомненно, никогда не видел ни одного произведения искусства, сумел тем не менее внести такой большой вклад в философию искусства.

Искусство и наука различаются также и по характеру своего развития. Произведение искусства, результат художественного творчества, закончено в том смысле, что оно довлеет само по себе и не может быть продолжено. Картина несет в себе самой свою красоту и истину. Искусство развивается, но не прогрессирует. Наука же — это чрезвычайно сложная структура, состоящая, с одной стороны, из знаний, фактов и законов, а с другой стороны — из проблем и концепций. Некоторые математически доказанные законы являются окончательными, и некоторые факты и положения твердо зафиксированы, потому что они основаны на конфронтации опыта и разума. Такие законы и факты можно поэтому считать универсальными. Однако многие общие воззрения — это концепции, а концепция, конечный результат научного исследования, — это только истина временная и преходящая. Прогресс науки требует отказа от старых концепций и построения новых систем. Наука есть перманентная революция, и в науке революция — это синоним прогресса, тогда как в искусстве революция — это синоним гибели.

## ТЕХНОКРАТИЯ И АНТИКУЛЬТУРА

Возвращаюсь снова к культуре: стать культурным человеком — значит дать своему духу возможность объединиться с истиной и красотой в общении, включающем в себя наслаждение. Стать культурным — означает направить свой дух по пути, который ведет к некоторой элегантности, некоторой мудрости, некоторой форме счастья.

”Приятное, хорошее, совершенное человек воспринимает серьезно; с красотой он играет”. Это, конечно, Шиллер. Это ни в какой мере не препятствует тому, что красота и игра являются центральными элементами нашего существования. Во всяком случае, там, где нет красоты и игры, жизнь теряет смысл и человек — а потому и общество — становится опасно нестабильным.

В потребительском обществе человек управляется технократией и подавлен всепроникающей безобразностью все более враждебного ему окружения. Красота и игра находятся на грани исчезновения, а культурному человеку грозит вымирание. Само потребительское общество, погрязшее в своих социально-экономических проблемах, жестоко потрясено. Нам говорят, что единственный путь спасения лежит через культуру, и — я хотел бы добавить — через игру, через благородные игры. Тем временем бунтарские элементы потребительского общества создают и поощряют антикультуру и контркультуру. Антикультура чисто разрушительна по своей природе, контркультура — это зарождающаяся масса политико-культурной природы, которая отрицает культуру как продукт и символ отвергаемого ею общества, как навязанную систему, как орудие властей. Контркультура предлагает взамен изменчивость, самопроизвольность, ”случайность”. Это могло бы быть формой игры-активности, если бы это не было отягчено такой страстностью, нетерпимостью и ненавистью и если бы это движение не оставалось до сих пор чисто

негативным. Известно, что Рембо, когда Верлен повел его в Лувр, прервал через короткое время свое посещение и сказал: "Жаль, что Коммуна не сожгла весь этот хлам!" Он сказал бы то же и о Национальной Библиотеке. Эта реакция типична. Мы находимся в 1871 году: контркультура родилась. Потребовалось столетие, чтобы она стала доктриной.

В обществе непотребительском, как и в потребительском, культурный человек находится на пути к вымиранию. Он исчезает, потому что в этих обществах тоталитарного типа истина, красота и игра в нашем понимании этих слов рассматриваются как признак декаданса, и прежде всего потому, что истина, красота и игра, которые управляют культурным творчеством, не могут процветать вне атмосферы толерантности.

Быть может, я чрезмерно пессимистичен, но я вижу будущее культуры в довольно мрачном свете. Впрочем, будущее — это область футурологов: пророков, астрологов, ясновидящих.

Оглядываясь назад, на историю, мы видим, что некоторые страны оказывались способными доминировать в течение короткого или более длительного времени в творческой активности в той или иной области: в архитектуре, скульптуре, живописи, музыке, поэзии, театре, литературе, философии, науке. Относительно редко какая-нибудь страна вносила большой культурный вклад во много областей, и уж совершенно исключительными являются случаи, когда этот вклад охватывает все области. Таким исключением была античная Греция. Другим таким исключением является Франция, как об этом должен свидетельствовать этот Центр Культуры и Науки. Конечно, перед ним стоит и другая задача: наука — будем откровенны — бесчеловечна. Пусть же тот Центр, который мы сегодня открываем, поможет ученым обратить их профессию в игру, иными словами, поможет им стать в высшем смысле человеческими существами.



*Александр ВОРОНЕЛЬ*

## ВРЕМЯ РАЗМЫШЛЯТЬ

Все мы давно чувствуем, что с анией нечто происходит, что она как бы приостановилась и замерла. В основном приходится сталкиваться с двумя крайними точками зрения на эту проблему. Одна из них состоит в том, что советская власть, регулирующая алию, совсем закрыла клапаны; другая — что Израиль не оправдал ожиданий алии и поэтому никто не едет. Но вот в чем не оправдал — здесь есть расхождения. Говорят, что виновато Министерство Иностранных Дел, говорят, что виновато Министерство Абсорбции, говорят, что виновато израильское общество в целом. В чем-то основном эти две точки зрения совпадают — виноват кто-то посторонний, либо тот, либо другой. Мне кажется, однако, что подобное двухполюсное, "дипольное" (термин научно-технический) представление о проблеме — заведомо некорректно. Действительно, если бы у проблемы алии было два полюса, мы всегда смогли бы выбрать, какой из них

виноват. Но в данном случае мы имеем типичную задачу трех тел — кроме этих двух полюсов есть еще сама алия, есть русские евреи, представляющие основной субстрат проблемы — вот именно о них мы и должны говорить.

По-видимому, что-то неладное происходит в процессе взаимодействия этих трех тел, но, как известно всем физикам, проблема трех тел в общем виде не решается. Поэтому подумаем о том, какое из этих трех тел реально находится в наших руках, каким из них мы в состоянии манипулировать?

Советскую власть я предлагаю оставить в покое сразу. Мы не умеем по-настоящему управлять ее политикой, и я не верю, что нам удастся ее предопределять, как бы громко мы ни кричали.

Израильские министерства гораздо более податливы, но и у них есть свои методы работы, свои планы, и поэтому, хоть я и не считаю невозможным на них влиять, думаю, что они имеют не меньшие претензии влиять на нас. Лишь третье тело находится всецело в наших руках — это русская алия, это мы сами. Сказанное мной кажется мне совершенно очевидным — и, несмотря на это, я все время сталкиваюсь с такой практикой, когда большая часть сил уходит на бессмысленную борьбу с чем-то внешним, а не с тем, что мешает нам и при этом внутренне присуще нам самим. В Москве, занятые вопросами выезда, мы слишком мало думали о том, куда мы едем и что собираемся там делать. Предполагалось, что на месте все проблемы уже решены. Как видим, мы ошибались.

Надо сказать, что не все из выехавших 100.000 были в Союзе активистами. Не все они были активными участниками этого великого народного движения, хотя его масштабы и впечатляют. Многие пользовались движением так, как пользуются автомобилем, не изобретая его и не работая на автомобильном заводе. Но тот, кто делает автомобили, должен учесть множество факторов — и качество дорог, и достаточное количество станций техобслуживания, и пригодность того или иного сорта

бензина для данного двигателя. Иначе — будут катастрофы, люди, опрометчиво занявшие места в автомобиле, — разобьются. Вот наша проблема. Мы не решили ее в Москве, и люди разбились и продолжают разбиваться. Вот наш главный вопрос.

Я, прожив несколько месяцев в Израиле, успел заметить одну существенную деталь, отличающую социальные ожидания русских евреев от системы взглядов коренного израильтянина: даже у самых патриотично настроенных русских репатриантов патриотизм направлен на государство Израиль, а не на землю израильскую, как у израильтян. Лишь на первый взгляд — это одно и то же. На самом же деле — тут громадное различие.

Израильтянам и в голову не приходит отождествлять политическую жизнь Израиля с землей Израиля. В сознании же русских репатриантов, сложившемся в условиях тоталитарного режима, — государство — это и есть родина. И когда выясняется, что государство весьма далеко от совершенства, понятие родины начинает как бы испаряться. Но ведь если вникнуть в слова "историческая родина" — те слова, что так часто мы повторяли в Москве, — можно без труда понять сущность конфликта, возникшего между нами и израильским обществом. Ведь израильтяне и ожидают от нас идеализма по отношению к этой самой "исторической родине", а мы требуем, чтобы государство оказалось достойным нашего идеализма. Это противоречие — крайне серьезно, и я не могу сказать, что знаю, как его преодолеть. Я лишь хочу посоветовать каждому бывшему советскому человеку, недовольному израильскими порядками, четко осознать, чем он недоволен — тем ли, о чем говорил в Москве, или чем-нибудь другим.

Я слышал однажды на лекции раввина Штейнзальца, что все политические деятели и политические партии в конце концов получают именно то, чего хотят, — они лишь не всегда знают вначале, чего хотят. Так вот — мы получили все, что хотели, и получили по заслугам. Теперь остается только подумать, как лучше ориентиро-

ваться в условиях существующего положения вещей.

Прежде всего я хочу призвать вас к углубленному самоизучению, к обсуждению существенных вопросов идеологии, а не только нашей нынешней ситуации в Израиле. Идеологии в Москве отводилось не то что десятое — пятидесятое место. И в Израиле, к сожалению, идеологическим вопросам уделяется не намного больше внимания. Но я уже в Москве считал — и сейчас продолжаю считать, что у нас никакой алии не будет, если не будет идеологии. Все обрывки и лохмотья, сходявшие в России за идеологию, обветшали и сносились. Теперь надо заново думать, что мы можем предложить евреям в Советском Союзе.

Первоначально мы все хотели свободы, которой в Союзе не было. Думали — будет свобода, а все остальное наладится само собой. Но мы не учли того, что свободой в Израиле пользуется каждый — не только мы. Мы свободны, но свободен и Иегошуа Перец в Ашдоде. Он свободен дезорганизовать всю нашу работу, испортить все наши начинания.

Мы — ученые. Что мы должны и можем принести Израилю — вопрос сложный, не думаю, что мы решим его тотчас же. Но мы, именно мы, обязаны его решать. Я всегда был уверен — и продолжаю на этом настаивать, — что ученые — самая представительная группа советских репатриантов, хотя и далеко не составляет большинства алии. Многие советские евреи еще и не начали думать об отъезде, но именно они, полмиллиона будущих репатриантов с высшим образованием, есть потенциальный резерв алии. Эта группа наиболее инициативна и наиболее информирована. Поэтому есть надежда, что и основную массу евреев можно будет сдвинуть через эту группу. Сам по себе провинциальный еврей не поедет. Следом за московским — может, и поедет.

В чем нуждается прежде всего эта группа? При сложившихся у нее идеологических установках на первом месте стоит, безусловно, профессиональная деятельность. И после выезда главной проблемой для ученого

является профессиональная адаптация, а вопрос этот на Западе далеко не так прост, как мы думали когда-то, начитавшись научно-популярной литературы. Благодаря этому чтению, а может быть — и тому, что в Союзе нас использовали более умело, чем нам казалось, у нас создалась иллюзия нашей абсолютной ценности, такой ценности, что любой капиталист немедленно подхватит, потому что такие люди, как мы, на дороге не валяются.

Все мы убедились, что ошибались — еще как валяются. К Израилю, правда, это относится меньше, чем к другим странам Запада, но тоже относится. И если эту ценность и воспринимают, то в таких высших смыслах, которые к деньгам почти никогда отношения не имеют. И существует наука в основном на жертвования — на тех условиях, на каких в Союзе существует, например, археология. В Союзе почти вся наука считается прикладной, даже та наука, которая заведомо "чистая", объявляется партийной — следовательно, тоже прикладной. Официально в Советском Союзе нет концепции "чистой науки", мы создали ее сами и могли придерживаться ее в своей повседневной деятельности, благодаря некоторой рыхлости советской структуры. Мы чувствовали себя относительно свободными в той стране, хотя начальство решительно нас в этом не поддерживало. Здесь же мы столкнулись с обратным явлением — прикладная наука развита недостаточно, а чистая поглощает непосильные для Израиля средства. Она слишком похожа на американскую науку, которая может позволить себе и некоторую хаотичность, и дураков от науки, и сумасшедших, но при этом живет полнокровной жизнью живого организма. Расчлените этот организм на сто частей (а израильская наука составляет менее одной сотой американской) — и сотая часть организма не сможет самостоятельно существовать, как это удается всему телу. В Израиле нам приходится решать, в сущности, не столько проблему советской алии, сколько проблему израильской науки. Но приехавшие сюда из Союза ученые тоже не есть живой организм — это мозаичный набор

частей, направлений, групп и школ. И вот один неживой организм хочет сочетаться с другим таким же, или, вернее, основательно его потеснить. Многие из нас говорят: разве я не могу работать так же, как мой израильский коллега, или даже лучше него? Почему бы мне в условиях свободной конкуренции не захватить его место? В принципе свободное общество допускает такую постановку вопроса, но я не верю, что подобный подход может быть плодотворным. Израильские ученые тоже умеют защищать свои интересы, им есть что противопоставить желанию советского репатрианта сесть на их место. По-моему, этот способ утвердить себя в Израиле — порочный способ.

Мне кажется, что мы должны эксплуатировать привычную для нас систему деятельности — коллективные методы исследования в прикладных областях науки; так на Западе пока не работают, для них это ново. А для души, для себя работать по "феодалному принципу" — после выполнения задания, "урока".

Мало кто из нас готов признаться, что работал всегда с руководителем, что на самом деле на самостоятельное место и не рассчитывал. Советскому доктору хочется быть не хуже израильского, но ведь в России над одним вопросом бьются 20 ученых, здесь так не работают. Только объединившись, только создав крупные научные коллективы — естественную для нас форму реализации своего научно-технического потенциала, мы сможем сказать то новое слово, которого с таким нетерпением от нас ждут. Только так удастся нам вклиниться в израильское общество и стать необходимыми. Найти как можно скорее приемлемый способ внутреннего сотрудничества — сотрудничества в своей среде между собой — вот самая большая наша надежда быть полезными, сохранив себя.



Рабби Адин ШТЕЙНЗАЛЬЦ

## ГРЕХ И ИСКУПЛЕНИЕ

Йом-Кипур (Судный День, или День Искупления) пробуждает в душе больше чувств и мыслей, чем, пожалуй, любой другой день еврейского календаря. В основе этих чувств и мыслей может лежать вся совокупность жизненного опыта человека, вплоть до смутных детских воспоминаний, или же только заботы и настроения сегоднешнего дня, однако и в том, и в другом случае Йом-Кипур пробуждает в человеке мысли о глубоко человеческих и неотъемлемых сторонах его жизни: о грехе, виновности, прощении и искуплении.

Однако современный человек в этот день начинает чувствовать себя неудобно, ибо он вынужден думать о своих прегрешениях, а их-то наше общество, в котором царствует вседозволенность, постаралось сделать в глазах человека чем-то отжившим и нелепым; оно изъяло концепции греховности из сферы юриспруденции, из общественного мнения и даже из человеческой совести.

Ибо понятие "греха" неизбежно связано с тем, что существует нечто, что для человека запрещено, постыдно, невозможно или, по крайней мере, нежелательно. Если же "все дозволено" — следовательно, никакого "греха" и в природе-то не существует. Если нет Бога — значит, нет и богохульства. Но может ли жизнь в условиях свободы и демократии обходиться без Бога, без понятия "греха", без мук совести и без искупления вины?

Однако, на самом деле, создаваемый современными средствами информации образ нашего мира, в котором "все дозволено", — это, на самом деле, всего лишь рекламная приманка. Ибо наш "счастливый новый мир" в той же мере, как и старый мир, которому этот "новый мир" идет на смену, скован законами, обычаями, условностями и разного рода запретами; и именно они цементируют этот "новый мир", делают его единым целым. Разумеется, это не те законы, не те обычаи, не те условности, не те запреты, которые существовали в "старом мире", — но они столь же обязательны, столь же непреступимы, как и прежние. Человек может оставить Бога, ему дано законное право, так сказать, "свергнуть Бога с его престола"; однако — такова уж природа человека — он не может ощущать этот престол пустым. На этот престол неизбежно должен кто-то — или что-то — воссесть: человек, идея, обычай. Это верно не только тогда, когда речь идет о таких, например, "заменителях" Бога, как коммунистическая теория (у которой есть своя "церковь" и свое "священное писание", свой писанный закон Маркса-Энгельса-Ленина и неписанный закон современных коммунистических догматов, и так далее), но и тогда, когда речь идет о многочисленных вариациях древних как мир учений, типа "живи и давай жить другим" или "жизнь у нас одна, так надо прожить ее весело" — у этих учений тоже есть свои "боги", свои законы и свои принципы.

Говоря с исторической точки зрения, современный мир вседозволенности есть расширение и развитие гуманистического мировоззрения, которое ниспровергло

Бога и посадило на его трон Человека. Однако на этом высоком троне Человек чувствует себя неудобно: он нутром ощущает, что "не по Сеньке шапка". Греческий софист Протагор, который учил, что Человек есть мера всех вещей, был бы доволен, если бы он воскрес и увидел, как историческое развитие мира подтвердило его теорию. Однако в современном мире, где Человек действительно стал мерой всех вещей, мы начинаем все яснее и яснее видеть, что эта мера лишена значения и ни к чему не ведет, если ее применять без какого бы то ни было внешнего критерия. И, что хуже всего, этот самый Человек, теоретически занявший место Бога, вынужден подвергнуться самому тяжелому и мучительному испытанию — он должен понять, что ему делать со своей "всемогущей волей", а понять это он не очень-то и способен. Он вроде бы всего достиг, приобрел на земле невероятное мугущество, но он — как мы ежедневно понимаем, хотя бы читая газеты, — не способен отличить добро от зла.

В каком-то смысле Человек действительно стал в окружающем его мире Богом. Идеалы, законы и обычаи общества направлены на то, чтобы сделать людей счастливыми и свободными, выполнить по возможности все их желания и разрешить все их сомнения. Однако лишь очень наивные люди искренне могут верить в то, что все их желания будут в конце концов удовлетворены или могут быть удовлетворены, что существует неограниченная свобода, что человек может жить в мире с самим собой и осуществить все свои духовные и телесные чаяния. И здесь-то мы и обнаруживаем, что у этого колосса Человека — глиняные ноги: он не просто уязвим, он весь — в клубке противоречий — противоречий между миром упорядоченности и миром смятения и хаоса, ведущих к смерти и уничтожению.

И, как всегда случается с искусственными и не имеющими глубоких корней религиями, нынешний культ "счастливого нового мира" и "рационально мыслящего Нового Человека" не может устоять перед злыми си-

лами, всегда шедшими в атаку на людей, — перед первобытными мрачными богами, вроде Астарты или Ваала. Началось все с преклонения перед гуманистическим идеалом; это преклонение переросло в идеал "сверхчеловека"; а прямым следствием сделалось погружение человека в пучину всяческих пороков — прежде всего в секс — секс, лишенный чувства, устремленный в один лишь физический половой акт. Секс в наши дни перестает даже притворяться, что он связан с любовью или что он нужен для воспроизводства рода человеческого; он становится бессмысленной оргией, по сути дела ничем не отличающейся от просто взаимной мастурбации. И власть, более не драпирующаяся в плащ, сотканный из благородных побуждений и любви к подданным, открыто попирает и угнетает людей и пользуется ими для своих низменных целей. И деньги перестали быть средством, ведущим к некоей цели, и сделались самой целью, объектом, идеалом и мечтой. Даже убийство совершается уже не по какой-то причине, хотя бы и корыстной, и низменной, но просто ради самого убийства, ради садистского удовольствия и ритуального акта уничтожения.

Все эти — и многие другие — признаки свидетельствуют о том, что наше общество находится в состоянии распада и разрушения. И снова "возводятся на престол" старинные языческие боги — деградирующая Западная культура возрождает богов Ханаана и безымянных богов еще более ранних эпох. Преклонение перед сексом, перед наркотиками, перед деньгами и перед властью — это и есть культ древних языческих богов, которые возвращаются к нам. А у этих богов, при всех их различиях, есть нечто общее: они безжалостны. Они не знают ни прощения, ни милосердия; они не признают ни прошлых прав, ни нынешних привилегий; они не дают обещаний, а если дают, то не выполняют их. Современная хорошо сложенная женщина вполне может быть жрицей Астарты, коль скоро ее тело для этого приспособлено. Как отчаянно пытается она про-

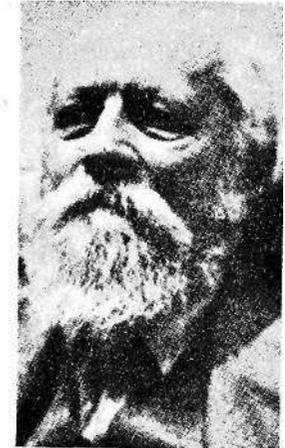
длить период своей юности и сексуальной мощи, стать чуть ли не бессмертной! Но нет милосердия у языческих богов — и ее бесполезное тело в конце концов все равно превращается в никому не нужный хлам. И Маммона тоже не знает жалости: тот, кто лишается денег, утрачивает не только богатство, но и саму жизнь, ибо в наши дни не деньги принадлежат человеку, а человек принадлежит своим деньгам. И таковы все эти новые — а по сути старые — боги, которые, подобно кровожадным ацтекским богам, требуют все новых жертв и в конце концов человеческих жертвоприношений.

Нельзя более закрывать глаза на то, что в нашем "новом мире" нет прощения и милосердия, нет греха и искупления. Думая о идее прощения — не только в религиозном, но и в чисто светском, человеческом смысле, — нельзя не признать, что это сложное понятие, имеющее метафизические пропорции. Когда человек совершает плохой поступок (каково бы ни было в данном обществе понимание того, что такое хорошо и что такое плохо), в этом есть что-то необратимое. Нельзя вернуться в прошлое и поступить по-иному. Можно в дальнейшем поступать по-иному, можно впредь стараться не совершать ошибок, можно исправить последствия плохих поступков, но нельзя зачеркнуть прошлое. Однако концепция прощения содержит в себе веру в то, что человек обладает какой-то властью над прошлым. Способность прощать таит в себе возможность хоть в какой-то мере зачеркнуть прошлое, исправить то, что уже сделано. Таким образом, концепция "прощения" связана с бессознательным предположением о наличии сверхъестественной, высшей силы, о связи человека с Богом, который — вне времени и пространства и законов природы. Каждая мольба человека о прощении за совершенные им в прошлом деяния — это мольба о том, чтобы зажглась в нем "искра святости, искра божественного", которая позволяет ему существовать также и вне пределов повседневной реальности.



Натан Файнгольд. "Рабби Акива"

Мартин БУБЕР 1950



## ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА

*Согласно учению хасидизма*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Слово "хасидизм" (по-еврейски "hasidut", то есть "верность", "благочестие") означает мистическое религиозное движение, охватившее восточноевропейское еврейство в середине XVIII века. В наши дни к нему принадлежит большое число общин.

В большинстве религий верующий полагает, что он может достичь совершенной связи с Богом путем отказа от мира чувств и преодоления собственного природ-

ного бытия. Не таков хасид. Верность Богу безусловно является для него наивысшим назначением человеческой личности, однако для достижения этой цели он должен не отстраняться от внешней и внутренней реальности земного бытия, а утвердить его в истинной, богонаправленной сущности и, таким образом, преобразить его так, чтобы "принести" Богу.

Хасидизм не есть пантеизм. Он учит, что Бог абсолютно трансцендентен, но вместе с тем относительно имманентен. Мир является эманацией Бога, но, наделенный независимостью существования и устремлений, этот мир, всегда и везде, тяготеет к образованию оболочек. Божественная искра живет в каждой вещи и в каждом существе, но каждая такая искра заключена в свою скорлупу и изолирована. Высвободить эту искру и воссоединить ее с Истоком дано только человеку, когда он вступает в священную беседу с вещью и использует ее свято — с помыслами, обращенными на божественную трансцендентность. Так заточенная в скорлупы божественная имманентность освобождается.

Но и в человеке, в каждом человеке, есть божественная сила. И легче, чем во всех других существах, в человеке она может быть извращена и использована во зло. Это происходит, когда человек, вместо того чтобы направить эту силу к ее истоку, дает ей ненаправленно растекаться и обращаться на что попало; вместо того, чтобы освятить страсть, он превращает ее в грех. Но и тогда открыт путь к спасению: тот, кто всем своим существом "поворачивается" к Богу, здесь, в этой самой точке универсума поднимает божественную имманентность из унижения, виной которому был он сам.

Задача человека, каждого человека, согласно учению хасидизма, — утвердить во имя Бога мир и самого себя и таким путем преобразить и мир, и себя..

## 1. ВИДЕТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ

Рабби Шнеур Залман, рабби из северной Белоруссии (умер в 1913), был посажен в петербургскую тюрьму, из-за того что митнагдим\* донесли правительству о его убеждениях и образе жизни. Он ожидал суда, когда однажды к нему в камеру вошел шеф жандармов. По величествуному и спокойному лицу рабби, который так глубоко погрузился в размышление, что не сразу заметил посетителя, шеф жандармов, человек пронзительный, понял, кто перед ним. Он заговорил с узником и задал множество вопросов, возникших у него при чтении Священного Писания. Под конец он спросил:

— Как следует понимать, что Бог — всеведущий Бог — сказал Адаму: "Где ты?"?

— Верите ли вы, — ответил рабби, — что Писание вечное и что оно объемлет все эпохи, все поколения и всех людей?

— Я верю в это, — отвечал тот.

— Так вот, — сказал цаддик\*\*, — в каждую эпоху Бог обращается к каждому человеку: "Где ты в твоём мире? Прошло так много лет и дней из отпущенных тебе; как далеко продвинулся ты в своём мире?" Бог говорит примерно так: "Ты прожил сорок шесть лет. Как далеко ты ушел?"

Когда шеф жандармов услышал свой возраст, он сдвинул над собой усилие и, положив руку на плечо рабби, воскликнул: "Браво!" — но сердце его трепетало.

Что происходит в этой истории?

На первый взгляд она напоминает нам те талмудические притчи, в которых римлянин или иной язычник задает еврейскому мудрецу вопросы о каком-либо библейском эпизоде, желая продемонстрировать мнимое противоречие в еврейском религиозном учении, и полу-

\* Противники (хасидизма).

\*\* Верный — так называют главу хасидской общины.

чает ответ, либо показывающий, что никакого противоречия нет, либо опровергающий доводы вопрошающего каким-либо иным способом; иногда к собственно ответу добавляется замечание личного характера. Но между подобными талмудическими историями и этой хасидской сразу же чувствуется важное различие, хотя оно и кажется на первый взгляд большим, чем на самом деле. Различие это состоит в том, что в хасидской истории ответ дается не в той плоскости, в какой был задан вопрос.

Шеф хочет обнаружить мнимое противоречие в еврейском вероучении. Евреи исповедуют веру в Бога всеведущего; но Библия изображает его задающим вопросы — как задают их, желая узнать что-то, чего сами не знают. Адам спрятался от Бога, Бог ищет его, заглядывает в сад, спрашивает, где он. Очевидно, что Бог не знает этого, — значит, от него можно скрыться. И следовательно, Бог не всеведущ. Рабби же, вместо того чтобы объяснить этот эпизод и разрешить кажущееся противоречие, берет его всего лишь за отправную точку с тем, чтобы упрекнуть шефа жандармов за его прошлую жизнь, за недостаток серьезности, за легкомыслие и безответственность. Безличный вопрос, который, хотя и задан вполне серьезно, но является по сути не вопросом, а формой возражения, вызывает личный ответ, или, вернее, не ответ, а укор. Казалось бы, от талмудических ответов здесь не осталось ничего — разве что увещание, которое их иногда сопровождало.

Но рассмотрим внимательней эту историю. Шеф жандармов спрашивает об одном месте из предания о грехопадении Адама. Ответ рабби, по существу, означает: Ты и есть Адам, это тебя Бог спрашивает: "Где ты?" Хотя кажется, что ответ не объясняет самого эпизода, но в действительности он проливает свет на положение и библейского Адама, и всякого человека в любое время и в любом месте. Ведь услышав и поняв, что библейский вопрос обращен к нему, шеф жандармов вынужден осознать, что значит, когда Бог спрашивает: "Где ты?" —

кому бы этот вопрос ни был адресован, Адаму или любому другому человеку. Бог, вопрошая, не рассчитывает узнать что-то ему неизвестное; он ждет от человека другого — отклика, который можно вызвать именно этим и никаким иным вопросом, — если только вопрос достигнет сердца человека, если человек позволит ему проникнуть в свое сердце.

Адам прячется, чтобы не пришлось давать объяснений, чтобы избежать ответственности за свой образ жизни. Так прячется каждый из нас, потому что каждый человек — Адам и находится в положении Адама. Чтобы избежать ответственности за свою жизнь, он превращает существование в "прятки". И снова, и снова прячась "от лица Господа", он все глубже погрязает в пороке. Постепенно возникает новая ситуация, которая становится сомнительней с каждым днем и с каждой новой уверткой. Вот ее точное определение: человек не может скрываться от глаза Божия, но, прячась от него, он скрывается от самого себя. Конечно, и в нем самом есть нечто, что ищет его; но этому нечто чем дальше, тем труднее его найти — и виной тому сам человек. Этот вопрос призван разбудить человека и разрушить его систему укрытий; он должен показать человеку, до чего тот дошел, и пробудить в нем великую волю преобразиться.

Все теперь зависит от того, в силах ли человек держать ответ. Конечно, у каждого, как и у шефа жандармов в нашей истории, сердце от этого вопроса затрепещет. Но система укрытий поможет ему преодолеть трепет. Ибо Голос является не в громе и молнии, угрожающих самому существованию человека, — это "тихий, слабый голос", и его легко заглушить. И пока человеку удастся это, жизнь его не превратится в путь. Каких бы радостей и успехов он ни достиг, какую бы власть ни приобрел и какие бы дела ни совершил, жизнь его останется "без-путной" до тех пор, пока он не отзовется на Голос. Адам отзывается на Голос, он понимает, что запутался, и признается: "Я скрыл-

ся"; это — начало пути человека. Истинное раскаяние — начало пути в жизни человека; снова и снова оно становится началом человеческого пути. Но раскаяние истинно лишь в том случае, когда оно выводит на путь. Ибо бывают бесплодные угрызения совести, которые ведут лишь к самоистязанию, отчаянию и еще более глубокому запутыванию. Когда рабби Геры \* , толкуя Писание, доходил до слов, с которыми Иаков обращается к своему рабу: "Когда встретится тебе Исав, брат мой, и спросит тебя, говоря: чей ты? и куда идешь? и чье это перед тобою?" — он объяснял своим ученикам: "Обратите внимание, как похожи вопросы Исава на слова наших мудрецов, говоривших: "Обдумайте три вещи — знайте, откуда Вы пришли, куда идете и перед кем вам придется держать ответ". Будьте очень внимательны, ибо обдумывающий эти три вещи должен соблюдать крайнюю осторожность — дабы не вопрошал в нем Исав. Потому что и Исав может задать эти вопросы и повергнуть человека в уныние".

Существует дьявольский вопрос, ложный вопрос, карикатура на вопрос Бога, на вопрос Истины. Он отличается тем, что не останавливается на "Где ты?", а, кроме того, утверждает: "Оттуда, куда ты попал, нет выхода". Эти дурные угрызения совести, которые не побуждают человека к повороту, не выводят его на путь; наоборот, представляя преобразование неосуществимым, они доводят его до такого отчаяния, что преобразование кажется совершенно невозможным — и человеку остается жить лишь дьявольской гордыней, гордыней порока.

---

\* То есть Горы Кальварии, близ Варшавы.

## 2. СВОЙ ПУТЬ

Рабби Бэр из Радошиц сказал однажды своему учителю "зееру" \* из Люблина: "Укажи мне один общий путь служения Богу". Цаддик ответил: "Научить людей, какой путь они должны избрать, — невозможно. Ибо один путь служения Богу — путь знания, другой — путь молитвы, третий — поста, а четвертый — еды. Каждый должен тщательно взвесить, на какой путь влечет его сердце, и тогда уж всем своим существом устремиться по этому пути".

Прежде всего эта история учит нас, как следует относиться к тому истинному служению, которое осуществляли наши предки. Мы должны чтить его и черпать из него, но не должны ему подражать. Великие и святые деяния других людей являются для нас примером, поскольку они показывают воочию, что такое величие и святость, но они не являются образцами, которые следует копировать. Хоть наши собственные достижения, когда мы оглядываемся на своих предков, и кажутся ничтожными, они обладают действительной ценностью, поскольку мы добились их по-своему и собственными усилиями.

Хасид обратился к магиду\*\* из Злотчева\*\*\* с вопросом:

— Нам говорят: каждый во Израиле обязан вопрошать: "Когда дела мои приблизятся к делам отцов моих, Авраама, Ицхака и Иакова?" Как следует это понимать? Как можно осмелиться помыслить, что мы в состоянии сделать то, что делали отцы наши?

Рабби объяснил:

— Так же как отцы наши прокладывали новые пути служения, каждый свой, согласно своему характеру: один — путь любви, другой — непоколебимой спра-

---

\* От "seher" — провидец.

\*\* Проповедник.

\*\*\* Город в Галиции.

ведливости, третий — красоты, так же каждый из нас должен внести что-то новое, свое, в учение и служение.

Каждая личность, рожденная в этот мир, представляет собой нечто новое, такое, что никогда прежде не существовало, нечто оригинальное и неповторимое. Каждый во Израиле обязан осознать и помнить, что особенность его личности делает его единственным в мире, где никогда еще не было подобного ему, ибо если бы кто-нибудь подобный ему уже существовал, то не было бы никакой нужды в том, чтобы теперь появился в мире он сам. Каждый отдельный человек — в этом мире новшество и призван в мир, чтобы реализовать в нем свою неповторимость. Ибо воистину именно из-за того, что этого не происходит, откладывается пришествие Мессии. Главнейшая задача каждого человека — это актуализация его уникальных, беспрецедентных и неповторимых возможностей, а не повторение того, что уже достигнуто кем-то другим, будь он самым великим человеком.

Мудрый рабби Буним сказал однажды в старости, когда уже ослеп: "Я бы не хотел поменяться местами с нашим отцом Авраамом! Что пользы Богу, если бы Авраам стал слепым Бунимом, а слепой Буним Авраамом? Вместо этого — лучше я, пожалуй, попытаюсь стать немного больше самим собой".

Еще яснее ту же мысль выразил рабби Зусия, сказавший незадолго до смерти: "В будущем мире меня не спросят — почему ты не был Моисеем? Меня спросят — почему ты не был Зусией?"

Здесь мы сталкиваемся с учением, которое исходит из принципиального различия между людьми и поэтому не ставит целью сделать их одинаковыми. Всем открыт путь к Богу, но каждый избирает свою дорогу. В том и таится величайшая надежда человечества, что люди различны, что несхожи их способности и склонности. Всеобъемлющая природа Бога проявляется в бесконечной множественности ведущих к нему путей, каждый из которых открывается лишь одному

человеку. Когда ученики одного скончавшегося цаддика пришли к люблинскому "зееру" и выразили удивление по поводу того, что он ведет себя не так, как их покойный учитель, "зеер" воскликнул: "Что бы это был за Бог, если бы существовал всего один способ служить ему!" Но благодаря тому, что каждый человек, отправляясь из своего особого места в мире и продвигаясь тем способом, который определен его собственной природой, в состоянии достигнуть Бога, — все человечество как таковое может достичь Бога, продвигаясь к нему со всех сторон по всем этим различным путям.

Бог не говорит: "Этот путь ведет ко мне, а тот нет, — он говорит, — чтобы ты ни делал, это может оказаться путем ко мне, если только ты это делаешь так, что это ведет тебя ко мне". Но что именно может и должно быть исполнено этой личностью и никакой другой — открывается ей только в ней самой. Изучение достижений других людей и стремление сравняться с ними может здесь, как я уже сказал раньше, принести только вред; человек упускает из виду именно то, что он, и только он, призван сделать. Баал-Шем\* сказал: "Каждый должен вести себя в соответствии со своей "ступенькой". Если он этого не делает, если он захватывает "ступеньку" ближнего, а свою оставляет, он не реализует ни той, ни другой". Таким образом, путь, которым человек может достичь Бога, открывается ему только через знание своего собственного существа, знание своей отличительной особенности и склонности. "В каждом содержится нечто драгоценное, чего нет больше ни в ком". Но это драгоценное нечто, присущее человеку, открывается ему только в том случае, если он действительно осознает свое самое сильное чувство, свое основное стремление, то в нем, что затрагивает сокровенную глубину его существа.

---

\* Обладатель имени (Бога). Так был прозван основатель хасидизма рабби Исраэль бен Элизер (1700-1760).

Конечно, во многих случаях человек знает это свое самое сильное чувство только как отдельную страсть, как "греховное побуждение", готовое сбить его с пути. Естественно, что самое мощное желание человека в поисках удовлетворения устремляется сначала на первые попавшиеся объекты. Необходимо поэтому силу даже этого чувства, этого импульса, обратить от случайного к существенному, от относительного к абсолютному. Так человек находит свой путь.

Цаддик сказал однажды: "В конце Экклезиаста мы читаем: "Выслушаем сущность всего: бойся Бога". В чем бы ты ни дошел до конца, там, в конце, ты услышишь одно — бойся Бога! И это одно есть все. нет в мире ничего, что бы ни вело к страху перед Богом и к служению Богу. Все есть заповедь". Однако подлинная наша задача в мире, в который мы рождены, совсем не в том, чтобы отворачиваться от предметов и существ, что встречаются нам на пути и привлекают наши сердца; задача как раз, наоборот, в том, чтобы, освятив свои отношения с ними, войти в соприкосновение с тем в них, что проявляет себя как красота, веселие, радость. Хасидизм учит, что веселие в мире, если мы освящаем его всем своим существом, ведет к веселию в Боге.

Одно место в рассказе "зеера" на первый взгляд противоречит этому — среди примеров "путей" мы находим не только еду, но и пост. Однако в общем контексте хасидского учения становится ясно, что хотя удаление от природы, воздержание от естественной жизни, и может для некоторых людей явиться необходимой отправной точкой их "пути" или необходимым актом самоизоляции в определенные переломные моменты существования, они никогда не составляют весь путь. Некоторые люди должны начинать с поста и начинать с него снова и снова — это их особенность; только путем аскезы могут они освободиться от порабощенности мирскими страстями, дойти до глубочайшего раскаяния и в конце концов достигнуть

слияния с Абсолютом. Но аскетизм никогда не должен становиться властелином жизни человека. Человек может удалиться от природы только затем, чтобы вернуться к ней снова и в освященном союзе с нею найти свой путь к Богу.

Библейский отрывок, рассказывающий об Аврааме и трех ангелах посетивших его — "А сам стоял над ними под деревом; и они ели", — рабби Зусия рассматривает как доказательство того, что человек стоит выше ангелов, потому что он знает нечто неведомое им, а именно, что еда может быть освящена помыслами вкушающего. Благодаря Аврааму ангелы, незнакомые с тем, что такое еда, разделили его чувство и приобщились к помыслам, с которыми он обычно посвящал трапезу Богу. Любой естественный акт, если он освящен, ведет к Богу, и природа нуждается в человеке, чтобы он сделал то, чего не может совершить ни один ангел, — освятил природу.

### 3. РЕШИМОСТЬ

Один из хасидов, последователей рабби из Люблина, постился однажды от субботы до субботы. В пятницу после полудня его стала терзать сильная жажда, ему казалось, что он умирает. Увидев колодец, он подошел к нему и хотел напиться, но тут же понял, что из-за одного короткого часа, который нужно еще вытерпеть, он чуть было не разрушил труд целой недели. Он не стал пить и отошел от колодца. И тут он почувствовал гордость оттого, что выдержал это трудное испытание. Осознав это чувство, он сказал себе: "Лучше я пойду и напьюсь, чем допущу, чтобы сердцем моим овладела гордыня". Он вернулся к колодцу и уже наклонился, чтобы зачерпнуть воды, как вдруг заметил, что жажда его пропала. Когда наступила суббота, он вошел в дом своего учителя. "Лоскутное одеяло!" — сказал ему рабби, когда он переступил порог.

Когда в юности я впервые услышал эту историю, я был поражен тем, как сурово обращается рабби со своим ревностным учеником. Ученик предпринимает предельные усилия для совершения трудного подвига аскетизма. Он преодолевает искушение нарушить пост, но единственная ему награда за все его усилия — упрек учителя. Действительно, первый раз ученик решил напиться, уступая плотскому побуждению, взявшему верх над душой, — и это побуждение ему еще предстояло подавить, но ведь во второй раз его решение было вызвано действительно благородным мотивом: лучше потерпеть неудачу, чем ради успеха пасть жертвой гордыни. Как можно ругать человека за подобную внутреннюю борьбу? Не значит ли это требовать от человека слишком многого?

Много позже (хотя и с тех пор прошло уже четверть века), когда я сам по традиции пересказывал это предание, я понял, что здесь нет и речи о том, чтобы от человека чего-то требовать. Цаддик из Люблина не насаждал аскетизм, и пост был нужен хасиду не сам по себе, а для того, чтобы поднять его душу на более высокую "ступеньку"; ибо, как допускал сам "зеер", пост может служить этой цели в начале становления личности и впоследствии, в критические моменты существования. Смысл того, что учитель говорит ученику, очевидно после того, как он с подлинным пониманием до конца проследил это рискованное предприятие, несомненно, таков: "Таким способом на более высокую ступеньку не поднимешься". Он предостерегает ученика от чего-то, что поневоле мешает достигнуть этой цели. Что это за препятствие — достаточно ясно. Ученик получает выговор за то, что он делает шаг вперед, а потом отступает. Из-за этой нерешительности, колебаний туда-сюда, действие приобретает сомнительный характер. Противоположность "лоскутному одеялу" — поступок цельной личности, поступок "из одного куска". Но как достигается такое единство? Только цельностью души.

И снова нас беспокоит вопрос, не обошлись ли с этим человеком слишком сурово. Ведь в этом мире бывает так, что один от природы или по милости Божьей (называйте это как хотите) имеет цельную, монолитную душу и соответственно совершает цельные, монолитные деяния, поскольку его душа, такая уж она есть, толкает его на это и справляется с этим; а у другого душа раздвоенная, сложная и противоречивая, что, естественно, отражается на его поступках: задавленность и противоречивость, проступающие в них, — порождение его задавленной и бунтующей души; беспокойство души выражается в беспокойном характере поступков. Что остается делать такому человеку, как ни стараться преодолеть искушения, осаждающие его на пути к конкретной цели? Что ему делать, как ни каждый раз, в самый разгар действия брать, как говорится, себя в руки, то есть собирать воедино свою колеблющуюся душу и вновь, и вновь направлять ее на достижение цели — и более того, еще и быть готовым, подобно хасиду в нашей истории, если вдруг подступит гордыня, пожертвовать самой целью ради спасения души?

Только теперь, когда в свете этих вопросов мы еще раз проанализировали нашу историю, мы в состоянии постичь поучение, содержащееся в критике "зеера". Это — убеждение в том, что человек может сделать свою душу цельной. Человек с раздвоенной, сложной, противоречивой душой не безнадобен: ядро его души, божественная сила, таящаяся в ее глубине, способны воздействовать на душу, изменить ее, воссоединить противоборствующие силы и сплавить воедино разнородные элементы — способны сделать душу цельной. Это воссоединение души должно быть завершено прежде, чем человек предпримет какой-либо необычный труд. Только с цельной душой сможет он выполнить его так, что этот труд станет монолитным деянием, а не "лоскутным одеялом". Итак, "зеер" упрекает хасида в том, что тот пустился в свое предприятие, не обретя единства души, которого в разгар

работы уже не достичь. И не следует думать, что его можно добиться аскетизмом; аскетизм может очистить, сконцентрировать душу, но не может удерживать ее в этом состоянии вплоть до достижения цели — он не может оградить душу от ее собственных противоречий.

Нельзя, конечно, забывать, что воссоединение души никогда не может быть окончательным. Самая цельная от рождения душа, и та бывает сбедаема внутренними противоречиями, и душа, которая вся устремлена к единству, никогда не может достичь его полностью. Но любая работа, которую я выполняю, объединив силы души, оказывает обратное воздействие на мою душу, ведет к новой и большей цельности, приводит меня, хоть и со всевозможными отклонениями, к единству, более устойчивому, чем прежде. Таким образом, человек в конце концов достигает состояния, когда он может положиться на свою душу, поскольку ее единство теперь так прочно, что она легко и без усилий преодолевает противоречия. Бдительность, разумеется, нужна и теперь, но она уже лишена напряженности.

Однажды, в дни праздника Ханукка, рабби Нахум — сын рабби из Ришина\* — вошел в Бэт Амидраш, когда его не ждали, и застал своих учеников за игрой в шашки, что было принято в дни Ханукка. Увидев цаддика, ученики смутились и прекратили игру. Но он добродушно кивнул им и спросил: "Знаете ли вы правила игры в шашки?" А когда они из застенчивости промолчали, сам ответил: "Я расскажу вам правила игры в шашки. Первое — нельзя делать два хода за раз. Второе — двигаться можно только вперед, но не назад. И третье — когда ты достигнешь последней линии, можешь двигаться, куда тебе вздумается".

Однако мы бы совершенно неверно поняли смысл

\* Ружин, Киевской Обл. Рабби Исраэль из Ришина был основателем знаменитой "Садагорской династии".

воссоединения души, если бы под "душой" подразумевали что-либо иное, чем человека целиком, — тело и дух вместе. Нет подлинного единства души, если не объединены все силы и части тела. Баал-Шем толковал библейское изречение "какую бы работу ни нашли твои руки, делай ее во всю твою мощь" в том смысле, что в делах, которые человек совершает, должно участвовать все его тело, то есть даже в чисто физическом отношении человек должен отдаваться работе целиком, так, чтобы ни одна часть его тела не оставалась не вовлеченной в действие. Человек, который таким образом воссоединил в себе дух и тело, и есть тот, чья работа монолитна.

*Окончание в следующем номере.*

*Публикация Натана Файнгольда.*

*Перевод, предлагаемый читателю, выполнен под редакцией Натана Файнгольда в 1971 году в Москве. Это одна из первых работ М.Бубера, опубликованных в Самиздате. В свободной прессе русский перевод "Пути человека" печатается впервые.*

# ПОБЕГ

*"Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ...*

*Я десять раз видел смерть и десять раз был мертв. В меня стреляли из пистолета на следствии. По мне били из автомата в этапе. Мина под Новым Иерусалимом выбросила меня из траншеи. Я умер в больнице 9-го Спасского отделения Песчаного лагеря, и меня положили в штабель с замерзшими трупами, я умирал от инфаркта, полученного в издательстве "Советский писатель" от советских писателей, перед освобождением из лагеря мне дали еще двадцать пять лет, и тогда я пытался повеситься сам. Я видел, как убивают людей с самолетов, как убивают из пушек, как режут ножами, пилами и стеклом на части, и кровь многих людей лилась на меня с нар. Но ничего страшнее этого прощания мне не пришлось пережить. Мы сидели вытянутые, белые, покачивались с закрытыми глазами...*

*Свобода открылась неожиданной догадкой, что она существует, что она реальна. Покачиваясь и переливаясь, она понесла нас в новые измерения людей и событий. Мы благодарим всех вас, кто дал нам хлеб, кто дал нам кров, кто дал нам перо и бумагу, на которой мы рассказали вам о себе, отвечая лишь перед совестью, истинной и неистребленной жаждой свободы".*

**Аркадий Белинков, 9 июля 1968 года, Спринг Велли, Миннесота. (Из "Нового колокола", 1972)**

## КРИТИКА



Аркадий БЕЛИНКОВ

## ПРОГЛОЧЕННАЯ ФЛЕЙТА

*Отрывок из книги "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша".*

По каким причинам человек делает не то, что он хотел бы делать, почему он наступает на горло собственной песне?

Когда он считает, что то, что он делает, — прекрасно; когда он глуп и не отличает вреда от пользы; когда ему безразлично, каково дело, которое он делает, и его занимает лишь, какую из этого дела он извлечет для себя выгоду; когда ему все безразлично; когда он боится, что если не будет делать, что велят, то у него будут неприятности.

Олеша не был глуп, он в те годы еще не искал выгоды, не был безразличен и не верил в то, что дело, которое он делал, прекрасно.

Он делал это дело, потому что боялся, что у него будут неприятности.

Испуганный и раскаивающийся, он стал поспешно убивать своих героев.

Юрий Олеша убивает своих героев за то, что было ему самому так дорого, необходимо и близко. И что стало казаться ему недостижимым.

Испуганный человек, сдающийся художник убивает своих героев за обреченную жажду свободы.

Жажда свободы гонит этих людей из России на Запад. Юрий Олеша написал пьесу о том, как трагичен, тягел и горек их путь.

"Зависть" оборвалась в ту минуту, когда судьба героя оказалась исчерпанной.

Она оборвалась, когда стало ясно, что герою остается или прозябание, или веревка.

Выбор был невелик: с возможными удобствами расположиться под кровом вдовы Прокопович и ждать конца, подобного тому, какого дождался Обломов под сенью вдовы Пшеницыной, или перерезать себе горло.

Писатель не стал добиваться окончательного решения по делу Кавалерова и, зацепившись за неразвернутую в романе возможность, создал третий вариант его судьбы.

Не расставаясь с "Завистью", Юрий Олеша пишет еще одно разночтение жизненного пути своего любимого и единственного героя.\*

Этому герою предлагаются иные социальные обстоятельства. Но гибельными оказываются и они.

Олеша думает, что поэт — свободы сеятель пустынный — обречен на поражение в борьбе с окружившим его миром.

И тогда становится ясным, что писатель развертывает перед нами различные комбинации конфликта человека и общества и хочет убедить нас в том, что непримирен-

---

\*Речь идет о героине пьесы "Список благодеяний Елене Гончаровой. (Ред.)

ность должна неминуемо кончиться поражением и смертью.

С этого момента можно ждать, что писатель вскоре порадует своих читателей окончательным и единственно возможным решением судьбы отечественной интеллигенции.

Это событие произошло через три года. Но раньше, чем оно произошло, Юрий Олеша успел-таки совершить несколько грубых ошибок.

Одна из наиболее грубых заключалась в том, что писатель позволил своим героям сомневаться, осуждать и, что уж совсем недопустимо, — выбирать.

Тайный конец "Зависти" приоткрывал судьбу героя: становилось ясным, что Кавалерову нечего делать в России.

Это было прологом нового произведения, и началом новых отношений с миром, в котором писатель жил.

Николай Кавалеров не разоблачается, не посрамляется и не зачеркивается. Он утверждается как сторона в споре.

Автор полагает, что Кавалерова не нужно уничтожать.

Несмотря на то, что революция делалась не кавалеровыми, ее благое начало должно быть распространено и на них, полагает автор. Потому что когда благое начало революции распространяется только на победителей, революции угрожает превращение лишь в сопровождаемую перестрелкой процедуру перехода власти из одних рук в другие.

В намерение совершающих революцию может не входить ничего иного, кроме стремления взять власть. Но этот переход власти сопровождается глубочайшими превращениями и потрясениями всего общества, и поэтому революция касается не только непосредственных участников, но и всех, кто оказался в зоне, где свистят пули, совершаются казни, творится возмездие и существует намерение установить справедливость.

Революция не сделала Кавалерову ничего плохого и ничего хорошего. Поэтому он может без предвзятости

определить свое отношение к ней. Нет никаких оснований утверждать, что Кавалеров враждебно думает о революции.

Конфликт Кавалерова с действительностью, в которой он прозябает, возникает не из-за неприятия революции, а из-за отвращения к тому, что стало с победителями. Победители стали бабичевыми.

Но для того чтобы с этим согласиться, нужно понять, что революция и бабичевы враждебны друг другу.

Вместо революции Кавалеров видит перед собой толстую спину и жирную морду Бабичева.

Морда и спина выдаются за истинное олицетворение революции.

Такое олицетворение вызывает у Кавалерова тошноту.

Кавалеров (как это часто бывает с современниками событий) не понимает, что произошло расслоение революции. Революция расслоилась на собственно революцию, занятую удовлетворением высоких человеческих намерений, и бабичевых, которые прекрасно удовлетворяют лишь самих себя. Между расслоившимися частями идет непримиримая война. Война заканчивается безоговорочной победой Бабичева.

Кавалеров не видит расслоения, дифференциации. Он видит перед собой жирный интеграл эпохи нэпа в образе изогнувшей толстую шею колбасы.

Эта колбаса озадачивала некоторую часть русской интеллигенции, которая, как подавляющее большинство людей, революцию не совершала, но которая оказалась в районе, где свистели пули и должна была быть установлена справедливость.

Эти люди смотрели на вещи проще, чем историки, которые очень часто находят блестящие подтверждения своей правоты.

Некоторая часть русской интеллигенции думала, что назначение революции в том, чтобы вернуть человеческим отношениям естественность, уничтожить условность и всегда связанные с нею несправедливость, лицемерие, ложь, бесправие, ограниченность. Революция

уничтожает историческое право и устанавливает естественное. Поэтому в революции часто много логики и всегда мало почтительности.

В прошлой истории люди претерпевали только события, и эти события почти ничего не меняли в жизни людей. Менялись обстоятельства, а жизнь людей оставалась неизменной. Проходили войны и революции, уходили одни режимы, приходили другие, а бытие человеческое, жизнь миллионов человеческих существ или не менялась вовсе, или менялась независимо от ударов истории. Исторического потрясения хватает ненадолго, и роль его сводится лишь к тому, чтобы одних властителей заменить другими.

Потом в лучах славы и в ручьях крови являются новые властители. Иногда с ними возвращаются когда-то изгнанные люди (очень редко) и институты (часто). Есть какая-то обреченность каждого народа на свой исторический путь. Она заложена в географии и метеорологии, в земле, на которой он расселен, в близости его к морю. Казалось бы, именно народы с тяжелой исторической судьбой, претерпевающие частые и необратимые потрясения, имеют больше возможностей изменить свое существование. Но в реальной истории все происходит по-другому, и в жизни этих народов совершается лишь замена одного кровавого режима другим кровавым режимом, все остается, как было, обновления бытия не происходит. Вот, например, в Турции, как были оттоманские нравы и кровавые злодеяния, так и остались, и никакие исторические потрясения и установление режима, прямо противоположного свергнутому, не вывели страну и народ на дорогу добра и счастья.

И это всегда бывает там, где деспотизм и тирания лишь отступают в трудные дни, но хорошо знают, что нужно укрыться, переждать до поры и дожидаться, когда позовут снова. Деспотизм и тирания знают, что их не убьют, что их ждут, их найдут, позовут и они снова придут и будут трубить победу.

Вот что мы знаем об особенностях развития деспотизма и тирании:

"Бацилла чумы никогда не умирает и не исчезает, десятки лет она спит в мебели, и белье, терпеливо ждет в комнатах, погребках, корзинах, платках и бумагах, и, быть может, придет день, когда на горе и для поучения людей она снова разбудит своих крыс и пошлет умирать в счастливый город". \*

Но самая жестокая, лицемерная и тираническая власть не может удержаться только на жестокости, лицемерии и тирании. Такая власть не просто ссылается на исторический прецедент, но и действительно имеет его. Должны быть в исторической судьбе, социальных навыках, национальном характере, в прошлом народа причины, по которым противоестественное правление возникло, смогло закрепиться и длительное время существовать.

Не следует удивляться тому, что каждая новая эпоха имеет с в о й прецедент в истории. Жестокость, лицемерие и тирания находят себя в прошлом и в этом видят свое оправдание и закономерность своего исторического бытия.

Следует напомнить, что всегда перед историческим потрясением выносятся на некоторое время шитая шелками программа, единственно возможная, неопишуемо прекрасная и созданная на вечные времена.

(Клянутся в святой верности программе два раза: первый раз, когда лишь зацветает концепция, порождающая программу, и второй,— когда концепция издыхает в зловонных клубах лжи, ханжества и лицемерия.)

Каждая программа непременно ссылается на великих предшественников, которые завещали поступать только так, как поступают творцы программы, и которые (предшественники) были бы необыкновенно счастливы, если бы, воскреснув, увидели удивительно замечательное торжество своих идей и действий.

Как много в истории было счастливых идей и как мало было счастливых народов!..

\* А. Камю, Чума. Цит. по статье С.Великовского "На очной ставке с историей (Заметки о творчестве Альбера Камю)", — "Вопросы литературы", 1965, № 1, стр. 123.

Но проходит немного времени, и становится ясным, что жизнь миллионов человеческих существ, для которых создавались программы, не стала лучше. И тогда придумывают внешних и внутренних врагов в неопишуемых количествах для того, чтобы объяснить: если столько внешних и внутренних врагов, то обещания свободы и хлеба, как вы понимаете, выполнены пока быть не могут. В перерывах между врагами устраиваются всемирно-исторические победы разной величины.

Грош цена концепциям и программам, которые прекрасны, необыкновенны, поразительны и неотразимы и в которых нет реальных путей осуществления самих себя. На свете уже было так много прекрасных, необыкновенных и проникновенных программ и концепций и так мало было проку от них... Христианство... Утописты... Чартисты... Фабианские социалисты... Все они были поразительны и неотразимы, и у всех не было реальных возможностей осуществления.

В истории нет глупостей, а есть обреченность, вынужденность делать глупости. В одно и то же время всегда предлагается несколько разных ответов, и каждая отвечающая группа чаще всего выбирает лучший, но лучший в меру своего разума. Все дело в том, что такое ее разумение. Оно чаще всего ничтожно потому, что срок исторической предназначенности каждой группы, пришедшей к власти, неизмеримо меньше, чем ее победоносная борьба за эту власть.

Историческое деяние и время действия исторического события более коротко, чем это хотелось бы историческим деятелям.

Исторические деятели настойчиво пытаются извлечь себя из прошлого, продолжить себя в прецеденте, в предшественниках и единомышленниках, завещавших им осуществление идеала.

Но историческое явление слишком быстро себя исчерпывает, и попытки его задержать всегда связаны с подавлением новых и более нужных общественных форм.

Историческое деяние гораздо больше связано со своим временем, чем кажется, и значительно менее пригодно для будущего, чем этого бы хотелось. Исторический деятель укладывается в свою эпоху и на другую эпоху не распространяется. Поэтому он не ответствен за поступки деятелей других эпох, ссылающихся на него. И поэтому то, что прекрасно у исторического деятеля в его эпоху, может оказаться отвратительным у другого исторического деятеля, пытающегося осуществить идеи предшественника в иное время.

Нет сомнения в том, что Ги Молле думает во многом так же, как думал Максимилиан Робеспьер. Но Робеспьер не ответствен за Ги Молле, потому что его последователь применил тезисы, пригодные для эпохи буржуазной революции, к эпохе противобуржуазных революций. Или, например, Кромвель был, несомненно, прекрасен. А вот Гейтскелл уже так прекрасен не был. (Оба этих случая — Ги Молле и Гейтскелл — прекрасно освещены в журнале "За рубежом") Или возьмем, например, красные рубашки, которые носили революционеры под знаменем Гарибальди, и черные рубашки, которые напялили на себя фашисты Муссолини, уверявшие, что их рубашки скроены по историческому фасону. Мы с чувством глубокого неудовлетворения произносим имя Леона Блюма. И некоторые считают, что именно так и следует это имя произносить. Но Леон Блум, несомненно, порожден Прудоном, о котором, как бы этого ни хотелось, однако нельзя сказать, что его долго ждали медленный огонь, сера и сковородка. Прудон же в свою очередь проистекает из Луи Блана, обладавшего известными достоинствами. А Луи Блан с рядом оговорок восходит к Бланки, о котором даже мы не можем сказать ничего плохого. Бланки порожден Бабефом, который всем нам служит высоким идеалом в борьбе с тиранией, несправедливостью, лицемерием, бесправием и деспотизмом.

Но как не нужно и невозможно требовать от исторического деятеля ушедших времен, чтобы он наставлял

нас, так нельзя и осуждать его за жалкий результат, полученный умеющими лишь преклоняться последователями.

Генрих Штейн, так много сделавший для объединения Германии, не отвечает за то, что через столетие после его смерти начались разнуданные захваты.

Социологические идеи существуют в реальной истории, и в голове исторического деятеля обычно возникают умозаключения, связанные с определенными историческими обстоятельствами. В другое время существуют иные исторические обстоятельства, и поэтому излишняя настойчивость эпигонов, пытающихся приложить созданные до них идеи к своим надобностям, ни к чему хорошему не приводит.

Герцен не повинен в том, что, создав высокие образцы агитации за свободу, справедливость и человеческое достоинство, открыл дорогу растленной, продажной и подлой журналистике, агитировавшей за свободу, справедливость и человеческое достоинство.

Исторический прецедент не годится для дальнейшего использования: он слишком быстро изнашивается в своем времени.

Увы, исторического предшественника не хватает больше чем на эпиграф. А его так часто пытаются сделать организатором ряда ответственных мероприятий.

Впрочем, культивирование деятелей-покойников можно понять. Деятель-покойник так необходим, потому что у него безупречная репутация. Так как предполагается, что человек с безупречной репутацией ничего омерзительного делать не станет, то свои сомнительные деяния потомки подсовывают ему.

В связи с тем, что общение с покойниками — очень распространенное явление, было придумано специальное слово, чтобы долго не объясняться. Это слово — некролатрия (обожествление умерших) — особенно часто произносится (или подразумевается) в государствах классицизма, уставленных колоннами, традициями, бла-

городными подвигами, высокой моралью, громкими речами и пронзительными взвизгиваниями.

Главное — это, конечно, традиция. Историческое прошлое и исторический деятель всегда нужны для установления традиций, прецедента, исторического права.

Характерная психологическая особенность той части русской интеллигенции, к которой принадлежат герои Юрия Олеши и особенно его главный, лучший и любимый герой Николай Кавалеров, заключается в том, что эти люди, видя непохожесть революционной эпохи на предреволюционную, не видят, как по-новому стали выглядеть в революционную эпоху предреволюционные вещи, слова и понятия. Они думают, что сменилась лишь система властителей, в то время, как произошло смещение социальных, исторических и психологических пластов. После революции они ищут того же, что было в предреволюционных категориях. "Вещи. Слова. Понятия... Жасмин... Нет, это был обыкновенный жасмин... Но я вдруг подумала: жасмин, находящийся в другом измерении, не вещь, а идея... Потому что это жасмин нового мира... это связано: значение жасмина со значением порядка, в котором он существует. Ощущение запаха и цвета жасмина становится неполноценным... он превращается в блуждающее понятие, потому что разрушился ряд привычных ассоциаций... Многие понятия блуждают, скользят по глазам и слуху и не попадают в сознание... Например, невеста, жених, гость, дружба, награда, девственность, слава..." \* .

После революции некоторая часть русской интеллигенции ищет того же, что было в предреволюционных вещах, словах, понятиях. (Пауза.) Свобода. Что?! Нет, это была обыкновенная, простая человеческая свобода. Некоторая часть русской интеллигенции думала, что свобода — это независимость поступков, совести, мнений, высказываний, убеждений. Но в послереволюционную эпоху оказалось, что свобода — это ничем не

\*Цит. из книги Олеши "Вишневая косточка". (Ред.)

ограниченная возможность действий, направленных на пользу победившего класса. Может быть, потому что эти люди не были победившим классом, такое определение свободы им не казалось достаточным.

Спустя несколько лет после "Списка благодетелей" и после "Строгого юноши" в определении и требовании свободы они будут ссылаться на Конституцию, в которой предусмотрены свободы совести, слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, объединения в различные общественные организации и общества. \*

Уверенные в том, что они пользуются правом, гарантированным Основным законом государства, люди, думающие о свободе, как о каком-то дореволюционном жасмине, или допотопном динозавре, начинают высказывать соображения, которые не всем людям ласкают слух.

Но при этом статьи Конституции, говорящие о свободах, существуют, и в этих статьях свободы не ограничены оговорками.

Люди, которым некоторые соображения кажутся не вполне ласкающими слух, стараются завести дискуссию о наличии или отсутствии свободы в другую плоскость: как понимать слова "В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя..."\*\*

Когда исчерпывается и эта тема, между людьми, высказывающими некоторые соображения, и людьми, которым эти соображения неприятно слушать, происходит такой типовой разговор.

\*Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Статья 124-126.

\*\* Там же, статья 125.

Конституция советская? Советская. Для советских людей? Для советских. Какой же советский человек станет пользоваться правами, предоставленными его, советской Конституцией, чтобы вредить самому себе? Советский человек не станет. А кто станет, тот не советский человек. А для него советская конституция и не писана. Ясно?

В самом деле. Какая всежигающая логика! И, заметьте, это логика не какого-нибудь вдохновенного дифирамба или безразличного тяп-ляп, а глубоко продуманная и имеющая богатейшую традицию и жирный корень. Корень этот завелся во время творческих дискуссий Первого Никейского собора (325 г.), набирал силу на Первом Константинопольском (381 г.), Эфесском (431 г.), Македонском (451 г.) и Втором Константинопольском (553 г.), окончательно утвердился на Третьем Константинопольском (680 г.) и был подтвержден Вторым Никейским (787 г.). Лучшую формулировку концепции создали ибидио-эфикские схоласты-догматики (находящиеся под сильным китайско-албанским влиянием), проходя Баб-эль-Мандебским проливом на пути из Бабуган-Яйла в Джау-эль Милах с остановкой в Курия-Мурия. И выглядит формулировка концепции так:

"Может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять?"

Особые значения концепция и вырастающие на ней плоды приобретают во время дознания в застенках, в бурсе, а также на философских факультетах университетов в эпохи расцвета всех творческих сил.

Начинается новая дискуссия: в соответствии или не в соответствии с интересами трудящихся подавлять людей, думающих о свободе в категориях предреволюционной эпохи.

Люди, которые не делали революцию, но которые ей и не мешали, думают, что у них еще остается право лояльности с вытекающим из него правом выбора.

Этим правом они и собираются воспользоваться.

Обнесенный историей у себя на родине Николай Кавалеров хочет уехать на Запад.

Он стремится туда, где рассчитывает, что сможет выполнить свое назначение, где сможет сказать: "я жил, я сделал то, что хотел".

Николай Кавалеров бежит не от революции, а от Бабичева.

И, конечно, так же как Кавалеров бежит не от революции, а от директора треста тов. Бабичева, так и его двойник, его продолжение и его трагическое разрешение Елена Гончарова бежит от директора театра тов. Орловского.

Почему же так стремятся герои Олеси на Запад?

Николай Кавалеров стремится на Запад, потому что ему "хочется показать силу своей личности". Ему "хочется спорить". Он стремится на Запад, потому что "у нас бояться уделить внимание человеку" и потому что он "хочет большего внимания". Но, увы, он "не родился на Западе". Ему "сказали: не то что твоя, — самая замечательная личность — ничто". "В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами. Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум".

Николай Кавалеров не решается на большой скандал. Шлагбаум остается неподнятым. Дороги славы по-прежнему заграждены.

Слабыми руками Елена Гончарова пытается приподнять шлагбаум.

Она стремится получить на Западе удовлетворение за "главнейшее преступление советской власти": пожизненное лишение духовной свободы.

Это "главнейшее преступление" заключается в том, что она не имеет "права чувствовать себя лучше всех", то есть в том, что попирается, одна из первейших заповедей высокого индивидуализма.

Гончарова хочет уехать на Запад, чтобы впервые почувствовать, что она "счастливая, свободная".

Поездка в Париж — "это путешествие в юность".

Накануне отъезда Гончаровой задают два важных вопроса: вернется ли она из-за границы и что она будет делать за границей.

На первый вопрос следует такой ответ: "Отвечаю честно — вернуться".

На второй она отвечает так: "Ну, что ж... по специальности... ходить в театры, знакомиться с артистами... смотреть знаменитые кинофильмы, которых мы никогда не увидим здесь".

О том, что она едет с намерением изменить родине, не сказано ни слова.

Я уверен, что она не сообщает об этом не из боязни выдать свой коварный замысел. Она не обманывала, когда обещала вернуться. Она не собиралась изменить родине, и об этом убедительно говорится во всех восьми сценах пьесы.

Елена Гончарова едет в Париж, чтобы увидеть фильмы Чаплина "Цирк" и "Золотую лихорадку", а ее судят за измену родине.

Это делается не сразу. Для того чтобы публика поверила, что человек, которого судят, — изменник, нужно сначала убедить ее в том, что он жулик.

Олеша сначала убеждает, что человек, которого он судит, жулик.

Будучи опытным писателем, прошедшим основательную школу, уже видавшим политические процессы и внутренне подготовленным к новым, он начинает не с решающих социальных катаклизмов, а с маленького морального разложения.

Маленькое моральное разложение происходит в связи с платьем.

Это платье играет роль коготка в драматическом поведении о гибели интеллигентской птички.

Интеллигентская птичка разыгрывает нижеследующий сюжет.

Заглядевшись на парижское платье (контаминация мотивов, связанных с взаимоотношениями вороны и лисицы, и страстной потребности шить шинель), героиня

забывает заветный чемоданчик. В заветном чемоданчике — "Тайна русской интеллигенции": тетрадка со "Списком благодеяний" и "Списком преступлений" советской власти.

В эту тетрадку, в два ее списка пишет, что знает о жизни, женщина, актриса, которую так и не научили лгать и которая хочет понять, какой список истинный.

Эту тетрадку выкрадывает злодей, и интеллигентская птичка, пискнув "простите меня", сцена восьмая, страница 96, пропадает.

Все это сделано для того, чтобы скомпрометировать героиню.

Для того чтобы показать, как оборачиваются так называемые "маленькие", или "простые", или "человеческие" радости в эпоху ожесточенных классовых битв.

По старой, доброй отечественной традиции маленькие, простые и человеческие радости смешиваются с грязью, чтобы никто не путал их с величественными подвигами.

Процесс компрометации указанных радостей начинается с того, что — морально неустойчивый человек соблазняется заграничным барахлом. Он продает свое первородство за чечевичную похлебку в форме буржуазных штанов.

Никогда нельзя начинать прямо с компрометации убеждений человека. Это ведь, знаете, еще кому как покажется. В понятии "убежденность" всегда есть нечто, вызывающее уважение. Поэтому нужно скомпрометировать человека уже скомпрометированными вещами. Например, — воровством. Воровство мало кто станет оправдывать изысканными побуждениями, как это было во времена Виктора Гюго. Но вообще свет клином не сошелся на воровстве. В последнее время хорошо разработана методология смешения человека с грязью за низкопоклонство или не отвечающий кондициям рисунок профиля. (Варианты: 1. Врач (убийца в белом халате) кусает грудь любовницы. 2. Торговля старинными русскими иконами). Вот когда людям, обладающим висо-

ким нравственным чувством (а все читатели газет, к которым апеллируют с похлебкой, низкопоклонством и рисунком профиля, обладают самым высоким нравственным чувством и ни при каких обстоятельствах всяких безобразий не делают), докажут, что преступник продавал первородство и кусал грудь, тогда можно переходить к следующему этапу. Следующий этап соединяется с предшествующим таким образом: морально разложившийся субъект может совершить любой, самый отвратительный поступок.

Морально разложившийся субъект начинает совершать любые, самые отвратительные поступки.

В зависимости от серьезности проступка повышается градус морального распада, и поэтому в серьезных случаях подсудимого повергают в такое моральное разложение, которое по силам только казачьему эскадрону, вырвавшемуся на оперативный простор.

По существующей номенклатуре преступнику приписывают: а) пьянки в ресторанах и на даче, б) погоню за иностранными тряпками (вариант: иностранной валютой, зажигалками, шариковыми ручками), в) желание выделиться, г) хамское обращение с подчиненными, д) неспускание за собой воды в уборной, е) брошенных детей, ж) умирающую от голода мать-старуху, з) убитого горем отца, и) замученную бабушку, к) затравленного дедушку, л) терроризированных соседей. При этом всем с самого начала бывает абсолютно ясно, с каким прохвостом и морально разложившимся субъектом, способным на любое, самое отвратительное преступление, они имеют дело.

Эта классическая традиция русской литературы, начатая в былинном эпосе, развитая в назидательной повести, получившая наиболее полное выражение в "Капитанской дочке" (моральное разложение изменника Швабрина) и дошедшая до наших дней.

Можно представить, что в результате судебной ошибки героиня привлекается к ответственности за измену родине.

(Бывают такие эпохи, главное содержание которых составляют разнообразные ошибки, в том числе и судебные.

В эти эпохи судебным ошибкам противопоставляются индустриальные гиганты, которые с хохотом посрамяют судебные ошибки и указывают им место.)

Для привлечения героини к судебной ответственности по статье об измене родине есть, несомненно, самые серьезные основания.

Согласно показаниям свидетелей, бесспорным вещественным доказательством, а также признанию самой обвиняемой, она в разговоре со своей знакомой по театру гражданкой Семеновой Екатериной Ивановной, артисткой, беспартийной, образование среднее, член профсоюза, утверждала, что "есть многое в политике нашей власти, с чем я не могу примириться. Я говорю о преступлениях против личности".

За это судить и казнить человека действительно необходимо. Не правда ли?

А ее судят за то, что дневник, который она вела, состоит из двух частей: списка благодеяний и списка преступлений, — и, помимо ее воли, в эмигрантскую печать попадает одна часть.

Но разве может человек нести ответственность за часть, которую выдают за целое? Ведь даже в пределах фразы одна половина может придать другой прямо противоположный смысл.

О нерасторжимости частей Гончарова говорит необыкновенно патетически: "Как? Оторвать половину? Нет, эта тетрадка не разрывается".

Подобно тому как нельзя судить человека, поджегшего дом, по статье об изготовлении фальшивых денег, так и нельзя судить даже сомневающегося человека за преступления, которых он не совершал. Как и всяких людей, так и усомнившихся в самых замечательных идеалах, не следует судить по ложному доносу.

Можно представить себе охотников судить человека за измену.

Можно даже представить на мгновение, что человека оправдали!

Но ее судят не за измену.

Елену Гончарову судят за сомнения, за то, что она не принимает безоговорочную чужую правоту, за то, что она осмелилась задавать вопросы, за то, что она не побоялась сказать о преступлениях.

Ее судят за мысли.

Юрий Олеша начинает один из первых политических процессов нашего времени и судит человека за мысли, за идеологию, за то, что он размышляет над тем, чей же социальный вариант лучше — России или Запада.

Я повторяю: Гончарова Елена Николаевна, артистка, из интеллигентов, беспартийная, образование среднее член профсоюза, не сделала ничего, нарушающего закон. Ее судят и приговаривают к высшей мере наказания — расстрелу — только за то, что она отстаивает свое человеческое, свое священное право на выбор.

Выбора не было. Могли быть только покаяния и мольба. Но и они холодно отвергались.

Мы читаем об изяществе слога пьесы "Список благодеяний", о том, что "Олеша был мастером диалога, поистине королем реплик". Мы понимаем, как это замечательно, и это нас вдохновляет на создание собственных замечательных художественных произведений.

Меня же в таких случаях особенно радует самоотверженность друзей писателя, которые, не боясь окатиться в идиотском положении, бросаются на всех, чтобы объяснить, как прекрасно все, что сделал, сказал и написал Юрий Олеша.

Это замечательно, но в то же время приходится иной раз поражаться "политической близорукости" (как сказал в связи с другим автором один из друзей Юрия Олеши), в силу которой (то есть политической близорукости)

сти) никто из писавших о пьесе никогда не сказал, не обратил внимания на то, что это произведение было создано в особенно знаменательное время и в особенно знаменательных обстоятельствах.

Написав об изяществе слога и о выразительности ремарок, не забыв коснуться и социально-экономической стороны вопросов и признав, что она безупречна, критики, как заколдованные сильфиды в классическом балете, упустили из виду, что в стране выходили газеты и журналы и что эти газеты и журналы Юрий Олеша читал.

Некоторые статьи он, вероятно, читал особенно внимательно. Например, такую:

"Помещая статью об этом процессе в литературном журнале... хочется в заключение еще раз подчеркнуть, что и на литературном фронте происходит в связи с обострением классовой борьбы активизация враждебных пролетариату сил.

В ответ на вредительство буржуазных специалистов сейчас начинается призыв ударников в науку.

Точно так же и призыв ударников в литературу является лучшим ответом на усилия новобуржуазных писателей протащить кулацкую идеологию в советскую литературу.

Процесс "Промпартии" для нас — литераторов, драматургов, писателей — должен послужить могучим стимулом в борьбе с "гуманизмом" и "объективизмом" в литературе".\*

Произведение Юрия Олеши было создано сразу же после одного из самых первых и одного из самых зна-

\* Тур. "Узлы развязаны". "Стройка". Иллюстрированный десятидневник литературы, критики, публицистики, 1930, № 30, стр. 7.

чительных судебных процессов нашего века, процесса Промпартии.

И оно было ответом писателя на призыв отразить в полноценных художественных образах события эпохи.

х х х

Посмертная публикация осуществлена вдовой писателя Н.Белинковой. Книга поступит в продажу осенью этого года. В книге 687 стр. Стоимость — 12 американских долларов. Пересылка 1,15. Воздушной почтой 6,48. Заказы направлять по адресу:

Natalia Belinky  
141 Via Gayda Monterey  
Ca 93940 U.S.A.

## ИЗ ПРОШЛОГО



Фаина БААЗОВА

## ПРОКАЖЕННЫЕ

*Окончание. Начало в 4-м номере журнала.*

Когда в начале своей обвинительной речи прокурор высказал сожаление о том, что органы следствия не смогли до конца раскрыть и разоблачить все преступления матерого врага Советской власти и агента международной буржуазии подсудимого Д. Баазова, — уже ни у кого не осталось и тени сомнения, что он потребует в отношении того высшую меру.

Дальше, по существу, началось второе чтение обвинительного заключения.

Размахивая руками, он орал как разъяренный зверь, выкрикивая последовательно одно положение обвинительного заключения за другим, считая его неопровержимо доказанным.

Все, все, что только мог вычитать из дела, вплоть

до факта рождения Д. Баазова, прокурор считал преступным и контрреволюционным...

Учился в детстве в религиозной школе, изучал еврейский язык — преступление, участвовал в еврейских сионистских конгрессах, связан с отрядом международной контрреволюции, выступал, писал по еврейским вопросам, разжигал национальную рознь... Произносил религиозные проповеди в синагогах, вел шовинистическую пропаганду, требовал учреждения еврейских школ и обучения там еврейскому языку — антисоветская национальная политика, обучал собственных сыновей и других еврейскому языку и истории — агитация. ...Организовал эмиграцию грузинских евреев — коварный враг ввел в заблуждение советское правительство. Встречался в Москве с представителем "Агроджойнт" И. Розиним — передавал шпионские сведения агенту империалистической державы... Особенно возмущался прокурор поведением подсудимого Баазова на суде... "Как! Разоблаченный враг, маскировавшийся в течение длительного времени, подсудимый Баазов не только не раскаялся перед советским судом, но для оправдания своих преступных действий бесстыдно посмел сослаться даже на соратников Великого вождя, желая тем самым дискредитировать их. Но час расплаты настал... такого опасного врага надо уничтожить...".

Прокурор признал также полностью доказанным обвинение Рамендика, Элигулашвили, Гольдберга, Пайкина и Чачашвили в том, что они были участниками организованной и руководимой Баазовым антисоветской организации (это при полном отрицании ими предъявленного обвинения и отсутствии в деле каких-либо доказательств вины).

Касаясь обвинения Хаима Баазова, прокурор вынужден был признать, что участие его в антисоветской организации на судебном процессе не доказано. (Еще бы, уж слишком парадоксальным выглядело бы обвинение!),

но он убежден (какой неоспоримый вид доказательства!), что Хаим Баазов, выросший в такой антисоветской семье, не мог не знать о контрреволюционной деятельности своего отца. Знал и не донес! Поэтому его следует осудить за доносительство.

В заключительной части прокурор потребовал: снять с подсудимого Хаима Баазова обвинение по ст. 58-10-11 УКГ и по ст. 58-12 осудить его к лишению свободы сроком на 5 лет.

Подсудимых Рамендика, Элигулашвили, Пайкина, Гольдберга и Чачашвили, по статьям 58-10 ч. I-II УК Грузии, осудить каждого к 10 годам лишения свободы.

Подсудимого Давида Баазова как коварного и опасного врага Советской власти, по ст. 58-10 ч. 1-II — к высшей мере наказания — расстрелу.

Тяжело и трудно было защитникам. Не потому, что обвинение отца было обосновано и им нечем было опровергнуть доказательства его вины, а потому, что всю деятельность отца, которую нигде и никогда немислимо было бы расценивать иначе, как возвышенную и благородную, и которая не могла быть преследуема советскими писаными законами, теперь непреодолимая сила считала смертельным преступлением.

После окончания судебных прений председательствующий, перед тем как дать последнее слово подсудимым, обратился к ним с предложением: пока еще не поздно, признаться и чистосердечно, искренне раскаяться в совершенных преступлениях, что будет учтено судом как смягчающее вину обстоятельство при постановлении приговора.

Подавленные и растерянные неожиданным для всех грозным требованием прокурора люди затаив дыхание ждали, что будет просить в последнем слове Давид Баазов. Дрогнет ли он перед угрозой смерти? Признает справедливость предъявленного ему обвинения и станет глубоко раскаиваться в них, прося пощады?

— Как! Признать преступлением любовь к своему народу, к его трагической истории, его древнему священному языку? Растоптать ногами свою святую религию, служение народу, которое для него выше и дороже жизни, дороже любимых детей? Нет! — Он говорит долго, голос его звенит все чище и громче, он доносится до коридоров и открытых кабинетов, где собралось много судей, прокуроров, партийных адвокатов, чтобы послушать его.

Он походит скорее на трибуна, чем на подсудимого. С логической последовательностью доказывает ненаказуемость по советским законам действий, за которые прокурор требует смертной казни.

Он обращается к прокурору, к составу Коллегии:

— Вы — дети многострадального грузинского народа, который тысячелетиями истекал кровью за сохранение своей самобытности, своей культуры и языка. Царское самодержавие стремилось уничтожить грузинскую культуру и грузинский язык. Советская власть принесла вам небывалый расцвет национальной культуры. И если сегодня в Советской Грузии вы, грузины, хотите казнить меня за преданность своему народу, за любовь к своему языку... Тогда стреляйте... — И он обнажил грудь...

— История моего народа знает многочисленные невинные жертвы. За мою святую религию пролито много невинной крови. И если по воле Всевышнего мне суждена такая кара, да будет благословенно Его решение.

Прокурор и судьи долго не поднимают головы. В зале, коридорах и кабинетах людей охватило оцепенение. Молча расходятся. Никто ни с кем не заговаривает, кто-то качает головой. В зале продолжается заседание.

Очень коротко произносят последнее слово Рамендик, Пайкин, Гольдберг, Чачашвили. Все они просят не выносить смертного приговора Д. Баазову.

Р. Элигулашвили снова отстаивает свою партийную честь.

Хаим, заливаясь слезами, не может вымолвить ни слова.

Председательствующий объявляет, что приговор будет оглашен завтра, во второй половине дня.

Суд удаляется в совещательную комнату. Завтра 2 апреля, пятница, канун праздника Песах.

День подходит к концу. Уже темнеет. Не дожидаясь увода заключенных, как обычно во все дни процесса, я с некоторыми старыми адвокатами поднимаюсь на 6-й этаж.

Там один из близких нам работников уступает свой маленький кабинет, а сам, на всякий случай, уходит.

Лихорадочно обсуждаем положение. Что делать? Одни считают, что надо подождать приговора. Они все же уверены, что Коллегия не пойдет на такое грубое нарушение закона открыто и отклонит требование прокурора. Другие, наоборот, считают, что следует сейчас же обратиться к руководителю партии и правительства ГрузЦИКа — Филиппу Махарадзе, НКВД — Равава, (которого назначил Берия после расстрела Гоглидзе) к секретарю ЦК Кандиду Чарквиани.

Мне все это кажется абсолютно безнадежным, так как я уверена, что судьба подсудимых была предрешена в тот день, когда после возбуждения ходатайства Давидом Баазовым прокурор и председательствующий растерялись, побежали к своим хозяевам. Мы великолепно знали, что и Убилава, и Шецирули — только слепые орудия неведомой нам силы и что огромный плакат, висящий во всю ширину стены большого судебного зала, на котором крупными буквами написана статья конституции: "Судьи независимы и подчиняются только закону", — издевательство.

Мы знаем, что смертный приговор приводится в исполнение в течение 24-х часов только в отношении осужденных по закону от 1934 года (измена, террор, не подлежащие ни обжалованию, ни помилованию), а по всем остальным пунктам ст. 58 — немедленно после утверждения председателем ГрузЦИКа.

Нет, в Грузии все двери спасения закрыты наглухо. И я решила, не дожидаясь оглашения приговора, отправить от своего имени "молнию" председателю Верховного Суда Союза ССР И. Т. Голякову.

Заметив, что у меня дрожат руки, адвокат Ваню Губеладзе — старый политический деятель и замечательный юрист — берет у меня ручку и почти приказывает:

— Диктуй!

Он выводит крупными буквами: "Отец мой незаконно приговорен 58-10, без указания части, к расстрелу, прошу приостановить исполнение приговора, истребовать дело".

Отправив телеграмму-молнию с уведомлением, я пошла домой. Я решила не говорить Алексею и Дмитрию о телеграмме, чтобы оградить их от возможной неприятности и всю ответственность за подобную дерзость взять только на себя.

Примерно в час ночи я получила телеграмму из канцелярии Верховного Суда Союза. Читаю: "Ваша телеграмма вручена лично тов. Голякову. Дело затребовано копия председателю Верховного Суда ГрузССР".

Я стараюсь использовать эту телеграмму для ослабления силы страшного удара, который ждет завтра маму и сестру. Убеждаю их, что телеграмма эта имеет решающее значение и не следует поэтому убиваться даже в случае вынесения требуемого прокурором приговора.

Рано утром 2 апреля я уже в Верховном Суде. Рано пришли также многие мои друзья. Они бегают по всем этажам в надежде узнать мнение ответственных работников о судьбе приговора. Но никто ничего не знает.

Еще очень рано, но никто не может понять, почему появляется другая большая бригада конвоя. Начальник бригады расставляет конвоиров по коридорам, у входа в большой зал заседаний, по лестницам. Это еще больше усиливает напряженность обстановки, которая со вчерашнего дня охватила почти все здание.

Многие не могут скрыть недоумения, растерянности, непонимания этого странного процесса, но все боятся спрашивать — лучше молчать.

Казалось, что в этом здании никого ничем нельзя уже удивить. Здесь давно привыкли ко многим "громким" делам, ко многим неправосудным приговорам. Знали работники всех рангов в этом здании и то, что без всякой судебной процедуры "оттуда" исчезли тысячи известных людей. Давно было узаконено считать этих людей "шпионами", "изменниками", "террористами", которые, "по указанию Троцкого", хотели свергнуть Советскую власть. Никто не знал, кто из них и в чем конкретно был обвинен, но всех называли "троцкистами". "Троцкизм" стал всеохватывающим понятием.

А теперь вдруг впервые появилось в Верховном Суде это "еврейское дело", которое по своему характеру совсем не похоже на обычный стандарт. Все в этом деле было им незнакомо и непонятно. И в их сознании это еврейское дело не вмещалось в прокрустово ложе троцкизма.

Эти люди принадлежали к той партийной прослойке, которая вышла на арену в начале 30-х годов и упрочилась во всех органах власти и управления, во всех культурных и хозяйственных учреждениях, изгнав отовсюду беспартийную "интеллигентскую гниль".

Они вышли из той комсомольской гвардии, которая в первые годы советизации Грузии ломала в своих деревнях церкви, порой редкие памятники древней архитектуры и уничтожала уникальные фрески в древних монастырях, которыми так богата Грузия.

Они были неучами и необразованными (за малым исключением). Они не знали историю своей собственной страны. Они плохо знали русский язык и совсем не знали русскую литературу. Из богатейшей грузинской литературы они почти наизусть знали произведения, воспевающие великого Отца народов и его верного ученика Берия. Их умственный мир был огражден конспектами произведений марксизма-ленинизма. Сейчас их настольной книгой была брошюра Л.П. Берия "К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье".

Они ничего не знали о еврейском народе в целом, не имели представления о еврейском вопросе. Знали лишь о

"своих евреев", что они давным-давно пришли в Грузию из древней Палестины, что народ этот безвреден и честен, в день три раза молится на библейском языке, по субботам не работает и строго соблюдает все свои праздники. Знали, что грузинские евреи не похожи на русских евреев, которых они считали чужими.

Они представления не имели, что такое сионизм, где и когда он возник и по каким признакам следует считать еврея сионистом и за что конкретно евреи преследуются законом. Они знали, что в центре города Тбилиси стоит древний, великолепный Сионский собор, что недалеко от Тбилиси, по Военно-Грузинской дороге есть деревня, которая называется "Сион", но, не имея ни малейшего представления ни о Ветхом, ни о Новом завете, они не могли уразуметь, есть ли связь между названиями этих мест и сионистами.

Вся их служебная деятельность, как и личная жизнь, регламентировалась директивами и инструкциями райкомов и ЦК партии. Но в них до сих пор ни разу не было указано, как, собственно, следует относиться к евреям, или, вернее, вообще нигде слово "евреи" не упоминалось.

Все они хорошо знали нашу семью. Любили и чтити Герцеля, восторгались его пьесами, рассказами. Любили Хаима. Знали, что Давид в прошлом был раввином, но никто из них не знал его деятельности в царское время или в первые годы советизации Грузии.

Но они были грузинами и поэтому в отношениях с нами они часто подчеркивали, что, любя и считая нас своими, они особенно уважают нас за то, что мы, подобно некоторым образованным евреям, не хотим уйти от еврейства, считаем себя настоящими евреями и гордимся этим.

... И вдруг, оказывается, — желание остаться евреями, учиться или обучать еврейскому языку, знать свою историю и любить свою культуру велено признать столь реакционным и антисоветским, что за это вчера прокурор потребовал в отношении Давида Баазова смертной казни.

Они были грузинами. А грузинский народ в прошлом отличался необычайной терпимостью ко всем народам и

религиям, в особенности к еврейской (на то были серьезные исторические основания), и они не могли понять, почему в многонациональной Грузинской республике свободно процветает язык, издательства, школы, театр армян, азербайджан, езидов, курдов и других, а для евреев это не только запрещено, но, оказывается, должно преследоваться как государственное преступление.

И они растерялись, но страх заставляет всех молчать. Тем не менее они не удержались, и, когда к трем часам секретарь Верховного Суда велел открыть широкие двери большого зала и возвестил, что приговор будет оглашен публично, они начали выскакивать из кабинетов и, опередив публику, первыми ворвались в зал.

Странно, откуда так молниеносно появилось столько народу? В течение всего процесса, а в особенности сегодня, конвоир разрешал оставаться на широкой площадке перед залом или в боковых коридорах только родственникам подсудимых.

В течение каких-то мгновений большой зал переполнен, широкая площадка, лестница, боковые коридоры не вмещают публику.

С трудом удается мне и многим адвокатам пройти в зал через боковые двери.

Я стала позади прокурора, напротив подсудимых.

Отец смотрит прямо на меня. Среди публики много евреев. Их ранее не видно было, наверное, прятались по коридорам нижних этажей.

Первые два ряда в зале занимает конвой. В зале стоит гул, люди теснят друг друга, вскакивают на высокие подоконники, кто-то локтями раздвигает публику, дают возможность подойти поближе маме, сестре, Сарре с детьми.

Секретарь суда звонком возвещает о выходе суда. В зале воцаряется могильная тишина.

Открываются двери совещательной комнаты, и оттуда, после пребывания там в течение суток, выходит состав суда. Председатель Убилава начинает читать приговор громким, торжественным голосом:

"Именем Советской Социалистической Грузинской Республики Судебная Коллегия Верховного Суда Грузии в составе... с участием сторон... рассмотрела дело по обвинению подсудимых... установила: подсудимый Д. Баазов, рождения..." И дальше начинается третье чтение обвинительного заключения, чуть-чуть уточненное в соответствии с обвинительной речью прокурора.

В зале замерло все. Воздух колеблют лишь произнесенные громко слова... фразы... мне уже хорошо знакомые, стараюсь не слушать их и только смотреть на отца, но помимо воли мой слух ловит их, потому что эти слова и фразы, теперь указанные и публично признанные, раздаются в сознании, как тяжелые удары молотком, и кто-то во мне подсознательно считает эти удары.

... "Д.Баазов, вернувшись из России в 1904 году, привез оттуда чуждые для грузинских евреев идеи сионизма. Создал широкую сеть сионистских организаций по городам Грузии и Закавказья... Проповедуя реакционный шовинизм, отвлекая трудящиеся массы евреев от революционной борьбы, состоял в преступной связи со многими руководителями мирового сионизма и, неоднократно принимая участие в сионистских конференциях Закавказья, на конгрессах русского и мирового сионизма..."

Читка продолжается вот уже час... удары наносятся ритмично, а сила их все увеличивается.

В зале тишина, как будто все вымерло, не слышно шороха. Замер конвой...

Иногда перевозоу взгляд с отца на Хаима, и каждый раз мне кажется, что лицо его двоится — вот вижу всегда розовощекое, всегда заливающееся веселым смехом лицо Хаима, а потом оно вдруг исчезает, и вместо него вижу лицо Хаима — почерневшего, — не серый, а именно черный цвет отличает его лицо от лиц других подсудимых. Ему нет еще тридцати, а всякий даст ему все 50 лет.

Прошло уже полтора часа. Читка продолжается. Теперь удары наносятся остальным: Рамендик, Пайкин, Элигула-

швили, Чачашвили, Гольдберг признаны виновными по формуле обвинительного заключения без изменения.

Отклонение, как было у прокурора, только в отношении Хаима: "Участие Х.Д. Баазова в антисоветской организации судебным следствием не доказано."

По залу, как электрический ток, прошел вздох облегчения: оправдают!

Звонок председательствующего выключил ток.

Прошло уже два часа. Приговор доходит до своей резолютивной части.

Отпив глоток воды, председательствующий повысил голос:

"Судебная Коллегия постановила":

Приговорить: Х.Д. Баазова, по ст.58 — 12 УК Грузии, за недоносительство — к пяти годам лишения свободы. Рамендика, Пайкина, Гольдберга, Элигулашвили и Чачашвили, по ст. 58—10—11 каждого,— к десяти годам лишения свободы.

Д.М. Баазова, по ст. 58—10—2—11, как опасного и варварского врага Советской власти — к высшей мере наказания — расстрелу.

Какая-то неведомая сила удерживает на какое-то мгновение, а может минуту, зал в полном оцепенении и могильной тишине.

Прокурор и члены Коллегии стоят, молча опустив головы. Взоры всех устремлены на отца. Он стоит как изваяние. Он кажется выше, как будто кто-то его поставил на пьедестал. Его бледное лицо озарено внутренним светом. Лоб излучает величие и спокойствие. Ни один нерв не дрогнул на его лице. Только глаза... глаза на фоне бледного лица кажутся особенно жгучими, и взгляд их выражает чувство внутреннего превосходства, смешанного с иронией, да, с иронией (так всем одинаково показалось), только глаза говорят, что это "изваяние" не из мрамора и в нем бурлит вулканическая непобедимая душевная сила...

... И одно движение: белыми, красивыми пальцами слегка поиграл по столу. И это тоже врезалось в память

многих. Он отводит взор от состава суда, на мгновение останавливает на мне (внутренний голос приказывает мне: "умри, но держись так, чтобы он не заметил и тени отчаяния на твоём лице"), потом его взор скользит по многим лицам, задерживается на маме с Полиной, которая почему-то обеими руками вцепилась в маму, а ее глаза безумным взглядом прикованы к отцу. Мама своими близорукими глазами смотрит куда-то вдаль... Нет, еще мгновение, еще не дошло до ее сознания, она хотя и знает общеразговорный грузинский язык, но язык приговора она не поняла и пока ей никто не сказал, но вот уже ее и сестру окружают мои подруги.

Вдруг откуда-то снаружи в тишину зала врываются крики и вопли. И зал вздрогнул, тут уже смешалось все — рыдания людей с окриками конвоиров: "Освободить зал, освободить помещение!"

Суд и прокурор удаляются.

Солдаты со штыками наготове выталкивают публику из зала, с площадок, из коридоров, со всех этажей на улицу.

Теперь вопли доносятся с улицы, со двора.

Вместе с друзьями спускаюсь по пустым лестницам. С обеих сторон лестниц стоят конвоиры, Никого наверх не пропускают.

На улице, перед зданием, уже стоит "черный ворон", конвой гонит публику, "очищает" улицу. Евреи прячутся по дворам и подъездам.

На другой стороне улицы вместе с Саррой и детьми стоят мама и сестра, почерневшие и окаменевшие.

Выводят осужденных по-одному. Родные и родственники кричат им подбадривающие слова, обнадеживают. Почти на руках выносят д-ра Гольдберга (никто не заметил, что в момент, когда он услышал слово расстрел, у него произошло кровоизлияние).

Вот ведут рыдающего Хаима. Он громко кричит мне: "Спасай папу".

Последним, под усиленной охраной, выводят отца. Я стою посередине широкого тротуара между "черным во-

роном" и входом в здание. Он идет спокойно и медленно, проходя мимо меня, он останавливается. (Странно, конвой не трогает его, не гонит.) "Не падай духом...— тихо шепчет он мне,— я всегда верил в тебя... участь твоя тяжелая, тебе предстоит выдержать много (что он еще имеет в виду?) Бог пошлет тебе силы... поддержите друг друга"— и еще совсем шепотом что-то, но я не расслышала...

"Папа, ты крепись, по моей телеграмме уже затребовано дело... я не боюсь",— выдавливаю из горла, уже следуя за ним. Он еще раз посмотрел на меня, потом взор его остановился на маме, сестре, Сарре с детьми... и "черный ворон" поглотил его...

Потом произошёл провал в сознании...

Очнувшись, я не сразу поняла, где я и что произошло. Я находилась в незнакомой грузинской семье, на первом этаже дома, напротив здания Верховного Суда. Возле меня стоят подавленные мои друзья. В комнате горит электрический свет. Сколько прошло времени? Надо ехать домой. А-й молча пошел со мной, остальные расходятся, предупредив, что завтра утром будут ждать меня в Верховном Суде.

Мы шагаем молча. А-й очень привязан к нашей семье. Он преклонялся перед отцом и восторгался Мерамом. Нас связывала крепкая дружба с детства.

Мы вместе поступали в университет и все студенческие годы занимались вместе у нас дома.

Под влиянием отца и атмосферы нашей семьи он увлекся историей еврейского народа и знал ее лучше, чем многие евреи, считающие себя сионистами.

Он любил и ценил книги и вечно пропадал у букинистов, где часто находил редчайшие сокровища, которые с гордостью приносил мне.

Больше жизни он любил свою родную Грузию, ее старину, ее культуру, а людей он любил и уважал — или презирал, в зависимости от того, кто как относился к

собственному народу. Это был его единственный критерий оценки человеческого достоинства, и тут он становился беспощаден и неуступчив. В его глазах были ничтожествами любые знаменитости и таланты, если они не являлись в первую очередь бескорыстными служителями родной культуры, патриотами своего народа. На редкость образованный, одаренный и исключительно трудолюбивый, он разительно отличался честностью и добросовестностью.

Неизвестно, какие его качества привлекли внимание кого-то из влиятельных лиц в вышестоящих органах, но сразу же по окончании университета, в 1932 году, за ним начали "охоту", предлагая ему блестящую карьеру. Он очень страдал от такого внимания и решил уехать на время из Грузии, чтобы избавиться от этих предложений. Устроился юрисконсультом в одном крупном тресте на Украине, где проработал несколько лет.

В те годы отцу часто приходилось бывать в Киеве, и А-й не упускал случая встретиться с ним там. Когда А-й приезжал в Тбилиси в отпуск, он с восторгом рассказывал мне, как они с отцом по вечерам гуляли по киевским бульварам, как жадно он ловил его высказывания и как, бывало, знакомя отца с кем-либо из своих новых друзей из среды старых еврейских деятелей, через пять минут те переходили на еврейский язык и... забывали о его существовании.

Свои рассказы А-й неизменно заканчивал словами:

— Ты представить себе не можешь, какой у вас отец! Я часто думаю, с какой планеты появился он!

Теперь А-й идет молча и ничего про отца не говорит, наверное, вспоминает прогулки с отцом по киевским бульварам.

Недалеко от нашего дома мы остановились.

— Постарайся поспать немного. Предстоит большая и, быть может, длительная борьба, — и уходит.

Мама лежит в кровати. Возле нее суетятся две соседки-еврейки и Полина. Мама не плачет, не кричит. Молча

бьется в сильной лихорадке. Когда я подошла к ней, она схватила меня за руки и неузнаваемым голосом произнесла: "Спасай папу".

Утопленники хватаются за соломинку, все кричат мне: "Спасай папу!" Мы все тонем, мы все соломинки.

Даем маме сильное снотворное, и скоро она погружается в сон. Полина, не раздеваясь, ложится у ее ног.

Бабушке сказали, что суд отложили, она сидит и ждет, что мы сядем за стол. Она приготовила в маленькой комнате стол для седера. На столе горят две высокие свечи, лежат по порядку, как положено: маца, марор, вино, крутые яйца, хоросет. Она еще раз с удивлением спрашивает, почему мы не идем ужинать...

— Бабушка, — прошу я, — мама нездорова, я устала, иди ужинать.

Я ведь знаю, что с позавчерашнего вечера она начала пост. Этот пост "нишмара" она держала раньше только в дни "селихот" в течение 40 дней до Йом-Кипур, когда она постилась по два дня подряд в неделю два раза. Несмотря на старания отца уговорить ее отказаться от "голодовки" (как говорили мы), она продолжала свое. А после ареста отца установила себе этот пост "до прихода Давида". ... И вот пошел девятый месяц, как она постится в неделю 4 дня, а Давид вместо дома пошел в смертную камеру.

Кто скажет ей об этом?

Она ни на что не сердится. Все принимает от НЕГО за милость, за все благодарит ЕГО. Она садится одна за стол и "ломает" пост, произносит "кидуш" и медленно читает Агаду.

Меня сильно знобит и, закутавшись в свою шубку, сижу в кресле. В квартире никто не зажег электрического света. Из темной комнаты через открытую дверь гляжу, как бабушка, при свете свечей, одна, в девяносто лет, справляет "седер". У нее большое потомство — дети, внуки, правнуки и праправнуки... Но никто, никто не

пришел сегодня в наш дом, чтобы не омрачить себе праздник Песах.

Или страх, страх гонит всех евреев подальше от нашего прокаженного дома?

Свечи медленно догорают. Бабушка медленно проглатывает кусочки пищи вместе со скрываемыми слезами... Иногда из спальни доносятся глубокий стон мамы, отдельные слова, зовет Герцеля, что-то говорит Давиду на идиш, потом снова затихает.

Слегка раскачиваясь, бабушка продолжает читать Агаду. Монотонное чтение постепенно расслабляет мое сознание... Будто сквозь сон перед глазами возникает другой "седер": большой и длинный стол, за которым сидят человек около тридцати... почти 15 — членов семьи, остальные — гости. Во главе стола сияющий отец, справа от него — Герцель, Хаим, Меер, слева — почетные гости и среди них любимый всеми Саид Давдариани (бабушка его называла "цадик ГОЙ"), жена его, Анна Иосифовна, — еврейка и свою очень набожную мать, глубокою старушку, на праздники всегда приводит к нам. Рядом с Саидом сидит обожающий его Яша Штакельберг — ярый троцкист. В начале тридцатых годов его выслали с Украины за его политические убеждения в Тбилиси. Кто-то из старых социал-демократов Украины дал ему письмо к Саиду, который до революции долго жил и работал там под псевдонимом С-ни и где его считали совестью социал-демократической партии Украины. Саид привел его в наш дом, где никто его троцкистских взглядов не разделял, но как бездомного и одинокого в городе еврея принимали тепло и заботливо. Он был очень образован и эрудирован. Худой, среднего роста, с черной, непокорной шевелюрой, он всегда был весел и любил острить. Он терпеть не мог читать советские газеты и печатающиеся в них тогда отчеты о процессах троцкистов называл "баснями Крыленко". Он знал и

ждал, что его возьмут, и, смеясь, уверял, что ночью не запирает двери. И действительно, в одну ночь пришли те, кого он ждал и для которых у него "дверь была открыта", и с тех пор он исчез, канул в неизвестность. Никто не знал, есть ли у него родные и где они...

Погасла одна свеча... путаются мысли... путаются видения... Старушка, читающая одиноко Агаду при слабом мерцании одинокой свечи, кажется нереальной, и не она, а младший из братьев — Меер читает "Ма ништана". Продолжает отец, и потом по очереди другие. Я слышу звонкий смех Герцеля, он вольно комментирует некоторые места "Легенд", его поддерживает Хаим, веселье и смех несколько отвлекают отца от чтения, и он хочет призвать нас к "порядку", но нам еще веселее оттого, что он не умеет сердиться на нас.

Из всех праздников мама особенно любила Песах. Все в доме блестело и выглядело торжественно. На столе специальная пасхальная посуда и очень высокие серебряные бокалы. Мама владела своим секретом кухни, в которой искусно комбинировала еврейские и грузинские блюда. Кто-то в ожидании фаршированной рыбы ижнейших маминых "кнейдлах" пытается перескочить в тексте Агады, но строго следящий за ходом трапезы отец сразу "разоблачает" нетерпеливого, который под общий хохот начинает читать пропущенное сначала.

Вот закончилась церемониальная часть Агады. Льется ароматное кошерное кахетинское вино, и гости состязаются в остроумных тостах... Когда к концу ужина подается огромная румяная индюшка, обжаренная вокруг, все смотрят на нее с грустью... никто не в силах дотронуться. А уже настоящей пыткой кажется съесть в конце ужина кусочек апикомана. Но тут обнаруживаются некоторые неполадки. Завернутый в салфетку апикоман отец дал спрятать взбалмошной трехлетней Лиле, дочери Хаима, которая в ответ на просьбу возратить ставит невыполнимые условия. Ее ангельски-красивое личико выражало чувство победы, а глаза лукаво смея-

лись. Каждого, кто хотел лаской уговорить ее вернуть апикоман, она коварно царапала. После долгих переговоров только дедушке удавалось уговорить ее смягчить условия. И она указывала место... Каким-то образом ей удавалось салфетку с апикоманом закинуть за огромный шкаф так, что он застревал между стеной и шкафом и достать его оттуда, не отодвигая шкафа, было невозможно.

Под общий смех и веселье молодые люди начинали отодвигать огромный и очень тяжелый шкаф. Полученный после таких усилий кусочек апикомана всем казался очень вкусным. А Лиля продолжала звонко заливаться смехом...

— "Ле шана аба Бирушалаим", — отодвигая стул, громко произносит старушка и идет спать... Погасла и вторая свеча... В квартире воцарились темнота и тишина.

... Меня охватывают всеобъемлющая чернота и страх, кто-то во мне стонет, потом, рыдая, ведет меня куда-то, во все черное. Постепенно вижу контуры этого черного... да, это камера, там глухо, темно, ни свет, ни звук туда не проникают. У дверей стоит кто-то, весь в черном, и лицо покрыто черным. Он застыл в ожидании мгновения, когда легким стуком в дверь он возвестит о своем приходе.

"Видишь?"

Это на фоне черной камеры бледное лицо отца. Он плачет. Он молится за Герцеля... за Хаима, за тебя, за всех вас, за многих. Он не выдержит, у него большое сердце, истерзанное судьбой Герцеля, заточением Хаима, страхом за тебя, крушением всего дома... — с отчаянием кричит тот, другой.

— "Выдержит! — кричу я. — Он много раз смотрел смерти в глаза".

"Видишь, как он вздрогнул на стук в дверь?"

"Это я вздрогнула. Не он. Мне послышался стук в дверь".

"Сколько раз такие расставания придется пережить истерзанному сердцу? Он не выдержит".

"Чего же ты хочешь?" — кричу я на "того".

"Я хочу уснуть, исчезнуть. Сердце искромсано ранами, душа не в силах больше вместить страдания тех, кто там, и мучения оставшихся".

"Пусть окаменеет твое сердце".

"Душа кричит от боли".

"Пусть умолкнет твоя душа".

"Сжался!"

"Не мешай!" — приказываю я и безжалостно загоняю "его" в далекие глубинные пласты души, откуда до моего сознания доносятся лишь еле уловимые звуки придушенного стоны и рыданий...

Темнота рассеивается, настает утро...

Было обещано, что по окончании дела дадут свидание с осужденными. Поэтому в субботу утром я побежала в Верховный Суд получить разрешение на свидание с Хаимом (отец не имел права на свидание, смертники — на особом режиме). Родные всех осужденных уже получили разрешение. На моем же заявлении резолюция "отказать".

— Как так? — спрашиваю старшего секретаря Шота.

Он виновато смотрит на меня, пожимает плечами и говорит:

— Знаешь! Зайди сама к председателю Спецколлегии, на меня он орал.

Председатель Спецколлегии Меунаргия — тоже из прослойки Убилава. Он недавно в Верховном Суде. Я его не знаю.

— Есть соображение не давать вам свидание с братом, — отвечает он на мою законную просьбу.

— Но почему? Ведь Хаим имеет право на свидание, как и все осужденные?

— Мы не обязаны отчитываться перед вами! — грубо отрезал он и уставился на меня светло-зелеными змеиными глазами.

Бедная мама, как она надеется, что в понедельник увидит Хаима... а Хаим? Как он ждет меня, как жаждет узнать, есть ли у меня надежда на спасение жизни отца!

Вечером собираемся у Алексея. Пришел и наш патриарх Месхишвили, который сам пожелал включиться в работу по составлению жалобы в порядке надзора (но об этом никто не должен узнать). Алексей и некоторые настаивают, чтобы я задержалась в Тбилиси, пока не будет составлена жалоба, так как им необходима моя консультация по чисто "еврейским вопросам". А Месхишвили категорически настаивает на том, чтобы я немедленно вылетела в Москву и там, в зависимости от обстановки, приняла предварительно нужные меры. Жалоба может быть готова в лучшем случае через 8-10 дней. Протокол судебного следствия будет представлен адвокатам лишь через 3-4 дня, а без протокола невозможно квалифицированно составить жалобу.

К тому же, надо заблаговременно связаться и подготовить защитника. Возможно, даже двоих — отдельно для отца и отдельно для Хаима.

По общему мнению, надо выбрать одного из двух, самых известных и авторитетных в то время в Союзе адвокатов по политическим делам — Николая Васильевича Комодова или Илью Давидовича Брауде. Комодов и Брауде участвовали в январе 1937 года в процессе "параллельного центра троцкистов" по делу Пятакова, Серебрякова, Радека и других, где Брауде защищал Князева, а Комодов — Пущина. В марте 1938 года по делу "право-троцкистского блока" Бухарина, Рыкова, Ягоды и других Комодов защищал профессора

Плетнева и Казакова, а Брауде — доктора Левина.

Я для себя решила остановиться на Брауде, он все же еврей.

А-й взял на себя обязанность следить за ходом подготовки жалобы и отправить немедленно мне копию самолетом через верные руки. Я решила вылететь, как только достану денег на адвоката. (По указанию Наркомюста президиумы Коллегии защитников обязаны были взыскивать по делам "врагов народа" очень большие гонорары. Мне нужно было достать значительную сумму.)

Материальное положение было очень тяжелым. Предстояли большие расходы, а рассчитывать не на кого. Мама с сестрой, Сарра с детьми оставались без всяких источников существования. Зарплата Меера еле обеспечивала прожиточный минимум его семьи. Мой муж как-то ухитрялся покрывать из своей зарплаты большие расходы на мои бесконечные путешествия между севером и югом Союза.

Родственники со стороны отца — дядя Шломо, две сестры-вдовы в Тбилиси и одна в городе Они — жили в нужде всю жизнь. По мере возможности им помогал отец. У мамы вообще не было в Грузии родственников.

Мои друзья грузины — нищие интеллигенты. Взять взаймы не у кого. Все шарахаются от меня, как от прокаженной. Есть, конечно, в Тбилиси десятки очень богатых евреев. Но то ли из страха, то ли из скупости никто из них в эту страшную минуту не отозвался.

В воскресенье во второй половине дня мои подруги (грузинки) К. и Ц. принесли мне значительную сумму денег, которую они добыли тем, что простояли в очереди в ломбард всю ночь и заложили свои ценные вещи. В понедельник друзья с большим трудом достали мне билет на самолет на вторник (самолеты тогда летали нерегулярно и попасть на них было очень трудно).

Вечером, около девяти часов, возвращаюсь домой. В переулке из синагоги вышел и окликнул меня рабби

Меир Джиджихашвили. Войти в дом боялся и, видимо, караулил меня. Он повел меня в темный угол и там, выразив сожаление, что наспех не удалось достать больше, передал мне от себя, Шимона Даварашвили и Давида Мамиствалова довольно крупную сумму, точно не помню, равную примерно 1500 рублям по масштабам сегодняшних денег.

Меир Джиджихашвили был шохетом. В юности он последовал примеру отца и уехал учиться одно время в Слуцк, где в то время находился отец. Как своим благородством, так и знанием Торы и либеральными взглядами он резко отличался от многих тупоумных и невежественных "коллег", за что последние его постоянно травили и преследовали. Он часто бывал у нас, любил часами беседовать с отцом, которого просто обожал.

Шимон Даварашвили и Давид Мамиствалов всегда поддерживали отца в борьбе с фанатиками. Они были из общины Цхинвальских евреев, где постоянно молился отец. Благословляя меня, Меир Джиджихашвили украдкой вытирает слезы.

Во вторник утром я вылетела в Москву.

Из-за нелетной погоды в Ростове нас задержали до утра, и в Москву мы прилетели лишь на вторые сутки около часу дня. Сойдя с трапа, я сразу заметила бегущего навстречу Меера. Меер провел всю ночь и все утро в аэропорту. Шел проливной дождь, и дул холодный ветер. Меер промок и продрог... Мы пошли по полю. Я поняла, что мне не удастся оттянуть время нанесения удара, и сразу выпалила:

— Папа сидит в камере смертников!

Красивое лицо его исказилось, чемодан выпал из рук. Выражение его глаз испугало меня.

— Знаешь! — с какой-то зловещей уверенностью в

голосе процедил он. — Если папу расстреляют, я покончу с собой.

Не таков был Меер, чтобы можно было не придавать значения его словам.

— Дурак! — заорала я на Меера. — Ты мне еще угрожаешь?! Как будто это трудно, и я не могу сделать этого раньше, чем ты. А что будет со всеми остальными?

х х х

Дверь открывает нам Доця, по виду Меера сразу догадавшаяся, с чем я приехала. Я тихо предупреждаю ее, и ее брата Абрашу, и тетю Злату:

— Не оставляйте его одного, следите за ним.

В тот же день Доця через знакомого врача оформляет Мееру больничный лист.

Установив по телефону, в какой из районных Коллегий адвокатов состоит Илья Брауде, я к 6 часам вечера поехала туда. Сегодня среда. Он принимает по понедельникам и средам с 6 до 8 часов.

На прием к Брауде уже записано человек пятнадцать, и заведующий объявил, что сегодня Брауде больше никого не примет. Он предлагает ожидающим в коридоре зайти к другим адвокатам.

Я говорю заведующему, что я адвокат, приехала из Тбилиси и мне безотлагательно нужно видеть Брауде по личному делу.

Через несколько минут из кабинета выходит заплаканная женщина и вслед за ней Брауде, который приглашает меня в кабинет.

Он не сразу узнал меня. Я называю себя, напоминаю о встречах с ним.

— Ах да, как же! Знаю. Даже читал роман Герцеля "Петхайн" и об отце слышал. Что произошло?

Я стараюсь сжато и коротко рассказать суть дела. Мне сегодня важно лишь только заручиться его согла-

сием принять наше дело в порядке надзора к своему производству. Судя по выражению его лица, рассказываю бестолково.

— Как! Верховный Суд, за сионизм, к расстрелу? Без предъявления части II ст. 58-10? Вы что-то путаете...— И он смотрит на меня недоверчиво, с какой-то жалостью.

На мгновение мне даже показалось, что я ему кажусь рехнувшейся.

Достаю из портфеля телеграмму, которую я получила из Верховсуда СССР, а также копию моей телеграммы, кладу перед ним молча. Он читает внимательно. Потом задумался

— Вот что, — говорит он вдруг, — я очень устал, пришел на прием прямо с большого и тяжелого процесса, к тому же мне еще надо принять десяток ожидающих людей. Здесь не время и не место для нашей беседы. Завтра у меня нет заседания. Приходите ко мне домой в 10 часов утра, и мы займемся делом вместе.

И.Д. Брауде жил у Земляного вала по Садовой в большом, многоэтажном доме. Ровно в 10 я уже была у него. На нем — домашний широкий халат, что его еще больше старит. Большой просторный кабинет, в котором хорошая мебель и хорошая библиотека, много редких и красивых вещей — произведений искусства, — все это оставляет впечатление какой-то старинной свалки. Он извинился за беспорядок в кабинете и сказал, что он никому: ни жене, ни домработнице — не позволяет убирать его кабинет, чтобы не перепугали его дела. Глядя на его рабочий стол, думаю: кто способен еще больше "перепутать" этот ворох бумаг, обложек пустых досье, разбросанных по разным местам вперемешку с какими-то постановлениями, указаниями, комментариями, фотоальбомами и со стихами любимых поэтов. Меня поразила подобная безалаберность, и я подумала — как он находит

нужный материал или источник в этой невероятной свалке?

Но очень скоро я убедилась, что у него был свой, особый порядок в этом беспорядке. Почти с закрытыми глазами, по какой-то интуиции, он мог вытащить из любой кучи бумаг нужный материал. Помогала ему и совершенно исключительная память. Почти безошибочно он мог восстановить по памяти нужный в данный момент текст закона или необходимые материалы дела. И хотя президиумы наших Коллегий во все времена очень строго требовали от адвокатов представления по всем делам, за исключением спецдел, безусловно составленных досье, Брауде никогда и ничего не представлял, и никто не смел потребовать у него, зная его собственный стиль работы и его колючий характер.

Брауде попросил меня подробно рассказать о семье, о Герцеле, о деятельности отца до и после советизации Грузии и особенно детально обо всем, что произошло с момента ареста Герцеля — с 25-го апреля 1938 года до вынесения приговора отцу и Хаиму. Во время моего рассказа Брауде и пяти минут не смог усидеть на месте. Он ходил вокруг стола, шарил в бумагах и делал какие-то заметки.

Иногда мне кажется, что он не слушает меня, занят чем-то другим, но неожиданно заданный вопрос или вставленное замечание убеждает, что все рассказанное мною слух его отлично улавливает. Когда я дошла до приговора, голос у меня вдруг сорвался и из глаз потекли слезы.

— Хватит, — закричал Брауде и вышел из кабинета. Через несколько минут он вернулся вместе с женой Евгенией и, представив меня, сказал:

— Вот она, о которой я вчера рассказал тебе.

Евгения Григорьевна с большой теплотой выразила мне сочувствие и пригласила нас к завтраку. Бледная, болезненная женщина, она редко выходила из дому. У них была дочь Нора, ей около 16 лет. Брауде ее обожает и сильно страдает оттого, что и она болезненная, нерв-

ная и часто впадает в депрессию. Но подлинным несчастьем для него был старший сын — пьяница и бездельник. Почти всегда пьяный, он то и дело попадал в разные отделения милиции Москвы, но как только узнавали, что он сын Брауде,— его моментально освобождали к большой досаде отца.

Вернувшись в кабинет и желая отвлечь меня от горьких мыслей, Брауде стал рассказывать о своем старшем брате профессоре, японоведе, который прожил в Японии 12 лет и его как "японского шпиона" расстреляли еще в конце 1936 года.

Потом стал показывать альбомы с фотографиями. Вот его родители, близкие, которые погибли от рук петлюровцев. Затем идут фотоснимки отдельных эпизодов погромов на Украине — страшные памятники "деятельности" антисемитов. Он быстро отбирает у меня этот альбом, заметив, как действует на меня вид убитых и искалеченных людей, и дает другой.

Здесь запечатлена почти вся жизнь Брауде — его выступления на многих известных процессах. С одной фотографии смотрит очень красивый молодой человек в форме офицера царской армии, глаза которого чем-то напоминают глаза Брауде. Он улавливает мой взгляд и с грустной улыбкой говорит:

— Ты, наверное, думаешь, как я из этого красивого офицера превратился в старого еврея?

И вдруг я поняла, почему у этого стареющего человека, с очень громким именем и очень популярного во всем Советском Союзе, притаилась такая грусть в глазах. И в прошлом, и в настоящем он, по существу, был очень несчастным человеком.

Брауде считал необходимым, чтобы я до получения жалобы и прибытия дела постаралась немедленно попасть на прием к председателю Верховного Суда СССР И.Т. Голякову и устно рассказала бы ему обо всем и

обрисовала обстановку вокруг нашей семьи. По его мнению, это создаст ему нужную погоду.

Он дал мне записку к заведующему Коллегии, в которой он состоял, и просил принять и оформить на его имя производство в порядке надзора дело Давида и Хаима Баазовых. Мне же он велел немедленно сообщить сведения, полученные из Тбилиси, и до понедельника составить ему хронику жизни отца. Прощаясь, он сказал:

— Я сделаю все, что в силах сделать адвокат, еврей и друг вашей семьи.

Следующие два дня — пятницу и субботу — я провела в Верховном Суде СССР. Тогда сравнительно легко можно было без специальных пропусков подняться на лифте на IV этаж, где находились и канцелярия, и кабинеты членов Верховного Суда, и приемная самого Голякова (впоследствии, когда Верховный Суд перешел на улицу Воровского, попасть туда было невозможно без специального разрешения из приемной, которая находилась в отдельном помещении).

Кого записывать и кого не записывать на прием к Голякову, решает старший секретарь Верховного Суда, очень высокий, с холодными серыми глазами, Кудрявцев. В основном он пропускает лишь тех, у кого имеется на руках жалоба в порядке надзора по общеуголовным делам и кто просит истребовать дела, по которым приговоры вступили в законную силу и один из заместителей Голякова уже отказал в просьбе.

Мне он решительно отказал.

— Ваше дело затребовано по вашей телеграмме. Оно еще не прибыло. Нет основания записывать вас к председателю.

Несмотря на его отказ, я торчу в коридоре, вживаюсь в обстановку. Откуда только ни приехали люди с надеждой, и уходят разочарованными. Сколько горя, сколько слез! Многие из Тбилиси, среди них подавляющее большинство по политическим делам. Почти у всех

на руках письменный отказ одного из заместителей Голякова: "За неимением оснований в истребовании дела, отказать". В основном это люди, которые из спецотдела Прокуратуры Грузии получали открытки с коротким уведомлением: "Ваш сын, муж, осужден и сослан без права переписки".

В отличие от 1938 года в атмосфере Верховного Суда чувствуется некоторое потепление и обращение с "врагами народа" уже несколько иное. Люди в коридорах убеждают друг друга, что прошлое кончилось.

В воскресенье рано утром неожиданно позвонил Брауде и тотчас велел приехать к нему. Через 40 минут я была у него дома. Он казался возмущенным и взволнованным. Оказывается, накануне вечером к нему приехал его приятель, советский еврейский писатель Виктор Финк, вместе с Венямином Элигулашвили, старшим братом осужденного Рафо, и просил принять ведение дела последнего. Озабоченный судьбой Давида, Брауде решил прощупать позицию Элигулашвили и попросил Венямина ознакомить его с делом брата.

Венямин выложил перед Брауде кучу документов и материалов, подтверждающих, по его мнению, преданность Рафо партии и правительству и его давнишнюю борьбу против "баазовщины". Это были копии старых заявлений Рафо в высшие партийные органы против Баазова.

Возмущенный Брауде объяснил Венямину, что такое рвение вырыть могилу Д. Баазову глубже той, в которой он уже стоит одной ногой, быть может, и будет способствовать его окончательной гибели, но ни в коей мере не спасет Рафо. И чтобы дело Рафо не попало в руки какого-нибудь адвоката, который легко может пойти на поводу у Венямина и стать на позиции, опасные для самого Рафо, Брауде посоветовал им поручить дело Н.В. Комодову, с которым тут же в их присутствии связался и уговорил принять дело.

— Теперь, — закончил Брауде свой рассказ, — они сидят у Комодова, и когда он их отпустит, то позвонит мне, и мы встретимся с ним в ресторане гостиницы "Метрополь".

С писателем Виктором Финком я не была знакома. Знала лишь, что он в приятельских отношениях с Герцелем, раза два приезжал в Тбилиси по приглашению Груз.ОЗЕТа, когда председателем правления был Рафо (оттуда, наверное, и такая дружба между ними), и то ли написал, то ли собирался написать очерк о поселениях грузинских евреев в Колхидской низменности, которые тогда осуществлял Груз.ОЗЕТ.

Я не знаю, какие были его истинные намерения, когда он шел к Брауде.

Венямин же вовсе не удивил меня. Когда в 1926 году еще студентом он вступил в основанную Герцелем корпорацию "Авода", казалось, он больше всех горел сионистскими идеалами. Но скоро, с изменением погоды, в нем погасла всякая идейная искра, и вслед за братом он начал делать карьеру.

Около 12-ти позвонил Комодов и сказал, что выезжает в "Метрополь". Мы с Брауде взяли машину и поехали туда же.

Комодов полностью согласился с Брауде, что обострение противоречий между позициями осужденных пагубно отразится на деле в целом.

Комодов уверял, что действительно наступил коренной перелом в осуществлении правосудия, что, по его словам, связано с приходом Берия, и он не сомневается в отмене приговора или в его смягчении. Он очень хвалил Голякова, с которым находился в большой дружбе.

К нашему столу подсаживается приятель Брауде, очень популярный в то время в Москве эстрадный артист — конферансье, высокий и толстый Михаил Гаркави. Он сразу забрасывает меня вопросами: правда ли, что Лаврентий Павлович очень образованный? Что он большой любитель литературы и искусства? Правда ли, что он особенно покровительствует писателям, артистам?

На какое-то мгновение перед моими глазами ожили лица многих моих друзей, многих писателей, людей замечательных, близких и далеких, лицо Герцеля, и "тот", мой двойник, которого я загнала в себя глубоко, на дно души, вдруг хватает меня за горло: "Посмеешь ли ты похвалить этого убийцу с светло-зелеными, змеиными глазами?!"

— Говорят... — коротко отвечаю я.

В понедельник, 12 апреля, с утра я в Верховном Суде. Решила любым способом обойти Кудрявцева и проскочить к Голякову. В коридоре я сразу сталкиваюсь с родственниками Элигулашвили, приехала также жена Рамендика.

Веньямин плохо скрывает чувство неловкости, уверяет меня, что в первую очередь он озабочен судьбой Давида и что он уже встретился с большими людьми, которые обещали вмешаться в это дело.

Жена Рамендика, старая женщина, плохо слышит, и с ней очень трудно говорить. Веньямин сообщает, что она не взяла адвоката, потому что надеется на свою сестру — известного физиолога академика Лию Штерн. Она молча сидит рядом со мною в коридоре и нежно поглаживает меня по голове.

Голяков начнет принимать только после 12 часов. Поговорив, тбилисцы расходятся. Сажу в коридоре напротив приемной. Двери в приемную открыты, и я могу наблюдать за Кудрявцевым, который уже рассаживает у дверей Голякова записанных на сегодня. Прием начался. Пропуская очередного просителя, Кудрявцев закрывает за ним дверь и ключи кладет в карман.

Прошли уже два или три человека. Вызванный звонком, Кудрявцев заходит в кабинет, выносит оттуда множество папок, затем запирает за собой дверь. Проследив за ним глазами, вижу, как он на лифте поднимается наверх в Прокуратуру СССР.

Спустя несколько минут я скорее почувствовала, чем увидела или услышала, как изнутри кабинета кто-то собирается открыть дверь. И в миг я очутилась у входа в кабинет, и кто-то, выходящий оттуда, шарахнулся, когда я стрелой влетела в открытую дверь. Я так сильно хлопнула дверью (специально, чтобы замок закрылся изнутри), что Голяков из дальнего угла, где он сидел за большим столом, оглянулся и с недоумением посмотрел на меня.

Стоя еще возле дверей, я с таким отчаянием в голосе крикнула: "Я дочь приговоренного к смерти человека, вы должны выслушать меня!" — что он даже привстал и жестом пригласил подойти к столу и сесть. Заметив, что у меня в руках нет ни жалобы, ни заявления, спросил:

— В чем дело? Расскажите.

— Я понимаю ваше состояние, — выслушав, сказал он, и в его голосе я почувствовала теплоту, — но вы же юрист и понимаете, что приговор, вынесенный при таких обстоятельствах, как вы утверждаете, если они соответствуют действительности, не должен оставаться в силе.

— Но отец страдает тяжелым заболеванием сердца и долго в камере смертников не выдержит, — взмолилась я, — материалы сначала пойдут в бюро переводчиков. А ведь вы же знаете, что протоколы судебных следствий по грузинским делам в Верховном Суде СССР переводятся на русский язык. Потому прошу вашего распоряжения, чтобы дело с переводом как можно быстрее дошло до вас.

— Дела о высшей мере вообще идут вне очереди, — говорит он. — Обещаю, что ваше, как только поступит, не задержится ни одного дня в бюро переводчиков, — и он делает какую-то пометку на бумаге.

— Кстати, кому вы поручили все вести здесь? — спрашивает он, уже вставая.

— Материалами отца и брата занялся адвокат Брауде. Но в деле будет участвовать также и Комодов.

— Отлично, — сказал Голяков, — разберемся.

У двери я подумала, что, наверное, сейчас налетят на меня, как волки, те, которых я опередила в очереди. Ведь

я просидела у Голякова не менее полутора часов, и, быстро открыв двери, стремглав побежала к лифту.

Вернувшись вечером домой, я нашла пакет с жалобой в порядке надзора. По словам Доци, утром какой-то грузин, который не захотел назвать фамилию, принес пакет и просил передать мне.

Через час я отвезла жалобу Брауде домой. Когда он прочел, сказал:

— Молодцы грузинские ребята. Написано очень смело и обоснованно. Московские адвокаты более пугливые.

По нашим подсчетам получалось, что Брауде получит возможность начать знакомиться с материалами процесса в лучшем случае не ранее чем через две недели, если дело прибудет в ближайшие один-два дня. Поэтому мы решили, что я снова начну добиваться приемов у прокуроров высокого ранга по делу Герцеля.

И снова началось мучительное хождение снизу до самого верха — до главного военного прокурора Грозовского.

Наконец добираюсь до Грозовского. Секретари, "военные девушки", предупредили: "Подайте жалобу, долго не задерживайтесь!" Это предостережение меня вдруг повергло в такое отчаяние, что, подавая жалобу Грозовскому, я почти онемела.

Он читал мою жалобу, крик моей души, мольбу о спасении невинного человека, моего Герцеля. Добавить что-либо устно, кажется, было невозможно.

— Хорошо, — сказал он, — истребуем, проверим, — и при мне наложил резолюцию на мою жалобу.

Но, увы! Не прошло и двух недель, как его самого посадили. Потом я обратилась к первому заместителю Вышинского — Рогинскому, к которому я попала с помощью Брауде сравнительно легко. Повторилась та же история: обещание истребовать дело, проверить, опротестовать, а через несколько дней арестовали и Рогинского.

Волна арестов, прокатившаяся весной 1939 года по

верхним этажам Прокуратуры, в народе воспринималась как возмездие за безвинно арестованных. Никто не жалел их, зачисляя в "ежовскую компанию".

Теперь Брауде удерживал меня от дальнейших мытарств по делу Герцеля:

— Кончим дело отца и Хаима — и потом займемся делом Герцеля вместе, — настаивал он.

Примерно к 23 апреля Брауде получил наконец возможность ознакомиться с делом. С раннего утра до конца рабочего дня он сидел в небольшой комнате слева от коридора, напротив канцелярии. Я все время в коридоре. По уговору, когда Брауде выходит из адвокатской комнаты и направляется к лифту, я иду за ним. Мы заходим в лифт, и там он быстро бросает в мою сумку крохотные листки бумаги. На них Брауде делает записи для составления жалобы. Невозможно запомнить все необходимые данные по такому обширному делу, когда почти весь материал касается отца.

Брауде поднимается в лифте обратно, а я бегу домой, и там мы с Меером расклеиваем на большом листе эти головоломки. Иные совершенно прочесть невозможно из-за неразборчивого почерка Брауде. Выручает то, что мне хорошо знакомы материалы дела и стиль судебного следствия.

Составленное таким способом досье вечером отношу к Брауде. И так продолжается до конца месяца.

В эти дни часто приходят туда, в Верховный Суд, к Брауде московские адвокаты — защитники по делу работников оркестра Большого театра, которое начнется в начале мая.

Они встревожены тем, что почти все адвокаты закончили изучение дела, а Брауде, защищающий там главных обвиняемых, еще и не "нюхал" его. Они беспокоятся, как бы это обстоятельство не сорвало начала процесса. Их поражает необычность для Брауде усидчивость по нашему делу.

— Чепуха! — говорит им Брауде. — Если поверят то-

му, что они говорили на предварительном следствии, их все равно всех расстреляют. А если поверят тому, что выяснится на суде, тогда зачем мне копаться в этом мусорном ящике?

x   x   x

Дни провожу в беготне. Тяжелые ночи. Возвращаюсь вечером, иногда очень поздно. Застаю Меера, погруженного все это время в Библию.

Правда, нам наконец удалось уговорить его выйти на работу, но он возвращается рано и в ожидании моего прихода сидит в углу не отрываясь от Библии.

Он жадно выслушивает обо всем, что произошло за день. Где я была и кто что сказал. Иногда я преувеличиваю обнадеживающие сведения.

Мы сидим далеко за полночь и тихо разговариваем. Потом он располагается на трех жестких стульях не раздеваясь — он с первого дня отказывается ложиться в постель, пока папа там, — и прикрывается своим пальто. Иногда во сне он стонет...

Когда в квартире совсем тихо и темно, мне становится страшно. Мне кажется, что я совсем не сплю. Но очевидно, иногда дремлю, и тогда сразу слышу стук в дверь, и вижу темную камеру. Я с ужасом вскакиваю и усаживаюсь у окна, стараясь бодрствовать. Странно. Утром я выезжаю в город совершенно не чувствуя ни усталости, ни желания спать.

На майские праздники Брауде закрылся дома и приступил к составлению жалобы. Я приезжаю к нему по вечерам и забираю написанную часть, чтобы отнести ее машинистке, которой он доверяет печатать материалы по секретным делам.

К пятому мая жалоба готова. Одну ее копию Брауде дает мне на хранение. Жалоба была пространный, состав-

лена в очень резких тонах и состояла из трех разделов:

В первом разделе он пункт за пунктом выявлял все процессуальные нарушения, допущенные по делу во время предварительного судебного следствия. Особенно яростно обрушился на Верховный Суд Грузии, который "позволил себе допустить неслыханное в судебной практике нарушение закона, осуждая Д.Баазова к смертной казни, в то время, как предъявленное ему обвинение не угрожало таким наказанием".

Во втором разделе, анализируя детально эпизоды обвинения Д.Баазова за период советизации Грузии, он с возмущением писал: "Как мог советский суд борьбу Д.Баазова в царское время сегодня расценить как контрреволюцию!"

В третьем — останавливаясь подробно на эпизодах обвинения Д.Баазова за период Советской власти и упоминаемая возбужденное им ходатайство для подтверждения правдивости его показаний, он упрекал Верховный Суд Грузии: "Как можно было отказать в таком ходатайстве, которое вытекало из всего хода судебного следствия, и признать Д.Баазова виновным в том, в чем он себя виновным не признал?!"

Обжалуемый приговор Брауде в жалобе называет актом беспощадной расправы.

Познакомив нас с жалобой, Брауде рассказывает о ходе "дела оркестра", очень нашумевшего в те дни в Москве. Он был прав. Не стоило тратить много времени на изучение материалов предварительного следствия. На суде все отказались от ранее данных показаний. А основной свидетель обвинения, уличающий подсудимых на следствии в "антисоветской агитации", так запутался в перекрестном допросе, что буквально на глазах из главного свидетеля превратился в главного клеветника. Когда он, давая показания, случайно наступил ногой на конец доски перед свидетельской кафедрой и доска,

подскочив ударила его другим концом по голове, Брауде бросил реплику: "Доска знает, кого бить!" В зале раздались аплодисменты. А на второй день в стенгазете Большого театра появилась статья под жирным заголовком "Доска знает, кого бить", в которой столпа обвинения по "делу оркестра" называли своим именем.

x x x

14 мая, в час ночи, позвонил Брауде и сказал, что только что звонил ему Комодов, который сообщил о возвращении дела в Верховный Суд. Потом добавил: "Заключение в нашу пользу".

Через 10 минут он снова позвонил.

— У меня завтра начинаются прения сторон по делу оркестра и отлучиться я не могу. Постарайся попасть к "нему". Очень важно, чтобы дело попало на ближайшее заседание.

Я сразу поняла, что мне следовало завтра попасть к Голякову и просить его внести протест на ближайшее заседание Судебной Коллегии (Брауде все время опасался изменения состава Коллегии).

Рано утром я одна из первых посетителей очутилась перед Кудрявцевым, который уже еле выносил меня.

— Запишите меня на прием. Мне надо представить важные документы, — наврала я.

К моему удивлению, не говоря ни слова, Кудрявцев вносит меня в приемный лист первой. Наверное, он решил, что все равно "она проскочит," как тогда, — так уж лучше пустить по-хорошему.

Голяков приехал только к двум часам. Я вошла первой. Он встретил меня очень приветливо, как старую знакомую.

— Я получил от вашего отца из смертной камеры телеграмму из 200 слов. У вас очень умный отец, — сказал он и добавил: — и духом сильный.

Слова Голякова так взволновали меня, что я вдруг забыла, зачем пришла. Как он сумел "оттуда" дать телеграмму и что он написал такого, что произвело на Голякова впечатление "умного и сильного" человека? Узнаю отца!

— Вам, очевидно, Брауде сказал, что приговор будет опротестован, — заметил он, видя, что я молчу.

— Но когда это будет? — взмолилась я.

— Я вам обещал ускорить производство дела. Рассмотрение протеста назначено на ближайшее заседание Судебной Коллегии. Вы понимаете, что гарантировать принятие протеста я не могу, но надеюсь, что он не будет отклонен.

— Когда это будет? — снова отчаянно проговорила я.

— Потерпите еще. До 18-го осталось немного времени.

— Значит, 18 мая? — И чтобы не разрыдаться, быстро поблагодарив, выбегаю из кабинета.

Итак, осталось меньше чем три дня. Но нам с Меером эти дни и ночи кажутся бесконечными. Дома всех охватило необычайное волнение.

Особенно тяжелой оказалась ночь с 17 на 18-е. Меер всю ночь просидел за Библией. Не спит и Доця. Голяков сказал: "Потерпите, осталось немного времени". Но что такое время?! Помню у какого-то психолога читала, что перед смертью человек видит всю пройденную жизнь. Не знаю, насколько это верно, но невольно думаю: сколько таких "мгновений расставания" пришлось папе пережить за сорок восемь суток!

Считаю минуты, часы, дни, недели. Потом цифры путаются и начинаю сначала...

Утром 18 мая у Меера собрались друзья, которые еще остались у нас, и родственники Доци. Приехал из Ленинграда мой муж. В эти два месяца он бывал только по воскресеньям, а сегодня — пятница. Он опасается, мало ли что может произойти. Все возможно. И возможно, протест будет отклонен. Он уже не такой оптимист, каким был весной 1938 года, когда взяли Герцеля.

Хотя я знаю, что заседание Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР закончится рано, но какая-то сила тянет меня, и с утра выезжаю туда. Бесконечное число раз выхожу на улицу, потом обратно поднимаюсь. Иногда мне кажется, что я отупела. И никаких ощущений. Раза два приезжал Брауде, заметно нервничает. Проходит время, уже 3 часа. Потом 4, потом начинает казаться, что это никогда не кончится и я, наверное, не выдержу.

Вдруг поднялся какой-то шум. Я очнулась и вижу перед собой Кудрявцева. Окружающие меня обнимают и целуют.

— Постановлением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР приговор Верховного Суда Грузинской ССР от 2 апреля 1939 года отменен и дело направлено на дополнительное расследование... — торжественно объявил Кудрявцев.

— Вот теперь мы можем избавиться от вас! — уже смеясь, говорит он.

— Нет еще!

— Что еще?

— Отправить "молнию" начальнику тюрьмы в Тбилиси, чтобы отца немедленно вывели из смертной камеры.

— Это верно, — говорит Кудрявцев и тотчас отдает распоряжение.

Рабочий день кончился, но задерживают машинистку, курьера... Телеграмма отпечатана, курьер направился на почту.

Я звоню Мееру. Там раздаются крики радости.

Потом вслед за курьером направляюсь на улицу Горького на Главный телеграф и даю маме "молнию". Получив квитанцию, я вдруг почувствовала, как у меня задрожали руки, колени и я не могу двинуться. С трудом преодолеваю непонятную слабость, охватившую меня, выхожу на улицу, беру такси и еду домой.

Последнее усилие — и я в комнате. Меер обнимает меня. Кто-то плачет, кто-то смеется, а я—куда-то проваливаюсь...

— Уложите ее спать, — издали доносится голос Доци.

Когда я проснулась, у изголовья сидел свежесбритый Меер:

— Ну и выпалась ты!

— Сколько я спала? — спрашиваю.

— Ровно двое суток, — ответил Меер.

Когда я встала, оказалось, что у меня все лицо и тело были покрыты большими коричневыми пятнами.

— Слава Богу, это очень хорошо, — сказал наш приятель-врач.

x x x

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**БОРИС ХАЗАНОВ.** (См. журнал № 5.)



**МИХАИЛ ШУЛЬМАН** — режиссер. Родился в Одессе в 1907 году. Окончил режиссерский факультет театральной школы при театре имени В.Э. Мейерхольда. Работал в Центральном комитете профсоюза работников искусств и был директором Краснознаменного ансамбля песни и пляски Союза ССР. В 1937 году был репрессирован и провел в общей сложности в сталинских тюрьмах и лагерях более девятнадцати лет. После реабилитации в 1956 году работал в Союзгосцирке и в Союзтеатроме Министерства культуры СССР. Репатриировался в Израиль в 1974 году. На Западе публикуется впервые.

**АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ** — поэт. Родился в 1936 году в Ленинграде. По профессии лимнолог. В России почти не публиковался. Репатриировался в Израиль в 1973 году. В настоящее время живет в Твери, работает в лаборатории по исследованию озера Ки-нерет. Печатается в израильской и западной периодической печати.



**ИЛЬЯ РУБИН** — поэт и прозаик. Родился в 1941 году. Образование получил в Москве. Работал в Институте элементо-органических соединений АН СССР. Был одним из составителей самиздатовского сборника "Евреи в СССР". В официальной советской печати никогда не публиковался. Репатриировался в Израиль в марте 1976 года.

**АНДРЭ ЛЬВОВ** — микробиолог, лауреат Нобелевской премии. Родился в 1902 году. В 1927 году получил звание доктора медицины, а в 1965 году — нобелевскую премию по медицине и физиологии. Андрэ Львов — профессор микробиологии Университета в Сорбоне и руководитель лаборатории микробиологии и физиологии института Пастера, почетный доктор Чикагского и Оксфордского университетов, а также член королевского общества Великобритании.



**АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ.** (См. журнал №3.)

**РАББИ АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ.** (См. журнал № 1.)

**АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ** — писатель. Окончил Литературный институт имени Горького при СП СССР. Учился также в Московском Государственном университете имени Ломоносова. Был арестован во время защиты дипломной работы. В тюрьмах и лагерях провел 13 лет. Из них 72 суток, ожидая исполнения смертного приговора. Был освобожден в 1956 году. Короткое время работал преподавателем в Литинституте имени Горького. Известен книгой "Юрий Тынянов" и распространяющейся в самиздате ру-



копией "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша". В архивах КГБ хранятся романы А.Белинкова, в том числе "Черновик чувств. Антисоветский роман" (за который он был арестован) и "Алепальская элегия" (написанная в лагере). В 1968 г., рискуя арестом, бежал из СССР. За два года, проведенные на свободе, работал лектором Ейльского университета (США) и профессором Индианского университета (США). В 1972 году в альманахе "Новый колокол" опубликована статья "Страна рабов, страна господ...", вызвавшая ожесточенную полемику по поводу оценки русской истории. А. Белинков умер, не успев осуществить трилогию о трех типах отношения к власти — лояльный художник (Ю.Тынянов), сдавшийся художник (Ю.Олеша), художник-протестант (А. Солженицын). Книга об Олеше, переправленная автором за границу до его бегства, подготовлена к печати его вдовой Н.Белинковой и выходит в свет летом 1976 года.

ФАИНА БААЗОВА. (См. журнал № 4.)

#### ОТ РЕДАКЦИИ:

В номере 5 на стр. 94 допущена опечатка Дата смерти поэта Леонида Аронсона — 1970 год.

## DIGEST OF SIXTH ISSUE OF "VREMIA I MI" ("Time and We")

BORIS KHAZANOV. King's Hour.

The scene of this short novel written in modern Western manner is laid in a Scandinavian country occupied by Germany during World War II. The story is based on the historical fact which took place in Denmark where the King publicly wore the Star of David on his clothes, as a token of protest against the Nazi persecution of the Jews. The author glorifies the nobility of human spirit and high moral values of our world.

MICHAEL SCHULMAN. Reb Nukhem and The Commander at the Bucket.

These two short stories, from the author's collection The Decameron of the Butyrka Prison, tell about dramatic events in the lives of the inmates of cell No.47 of the infamous Butyrka prison in Moscow in 1937 and 1938, at the height of the Stalin purges in Russia.

HENRI VOLOKHONSKY. Poems.

ILYA RUBIN. Poems.

ANDREY LVOV. Art, Fashion, and Game.

This lecture was delivered at the Hayim Weizman Institute at the opening day of the G. Meier Center of French Science and Culture. The author lays bare the essence of modern arts and sciences which are based, he thinks, on entertainment and game.

ALEXANDER VORONEL. Time to think.

The author treats some moral and social aspects of the integration of new immigrants from the U.S.S.R. in Israel.

RABBI ADIN STEINZALTZ. Sin and Atonement.

The author criticizes some aspects of degradation of modern civilization and throws light on the meaning of redemption of sin on the Day of Atonement.

MARTIN BUBER. The Way of All Flesh.

**In this essay the outstanding Jewish thinker tells about the main concepts of Hassidism, about both transient and intransient truths which should be man's guides in his life.**

ARKADY BELINKOV. The Swallowed Flute.

**An extract of Belinkov's book Surrender and Perdition of a Soviet Intellectual.**

FAYNA BAAZOVA. The Lepers (Continuation; cf. Vremia mi, No.4)

Подписывайтесь на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем "Время и мы". В ближайших номерах: неопубликованные главы из книги Ю. Марголина "Путешествие в страну Зэка", рассказы Светланы Шенбрунн "Мой брат", "Мальчик", "Аня" и Бориса Хазанова "Страх" отрывки из книги Виктора Перельмана "Покинутая Россия", дискуссия по статье Льва Тумермана "Израиль: Европа или Азия?", критические заметки о поэзии Бродского, новые переводы израильских и зарубежных поэтов.

#### **УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ**

##### **В ИЗРАИЛЕ**

на 3 месяца - 49 лир 50 аг.

6 месяцев — 99 лир.

9 месяцев — 148 лир 50 аг.

12 месяцев — 198 лир.

Цена номера в открытой продаже - 22 лиры 50 аг.

##### **В США И КАНАДЕ**

сроком на 6 месяцев -19.60\$

на 12 месяцев 39.20\$

Цена номера в открытой продаже - 4.5 \$

##### **ВО ФРАНЦИИ**

сроком на 6 месяцев — 78 F.FR.

на 12 месяцев - 156 F.FR.

Цена номера в открытой продаже -19 F.FR.

##### **В ГЕРМАНИИ**

сроком на 6 месяцев -46 DM

на 12 месяцев - 92 DM

Цена номера в открытой продаже - 10 DM

# "РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

"Русская Мысль" — самая большая еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг, на 16 страницах среднего формата и предлагает своим читателям широкий обзор международных событий, статьи о вопросах религии и философии, о науке, литературе и искусстве, интересные архивные материалы, документы о жизни в СССР.

"Русская Мысль" — не только звено, объединяющее старую и новую эмиграцию, не только голос, доходящий до России, и голос России на Западе, но и окно, открытое на Запад...

Все, кто интересуется русским вопросом, читают

"РУССКУЮ МЫСЛЬ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Адрес редакции и конторы:

"LA PENSEE RUSSE"

217, Rue du Faubourg St. Honore, 75008 Paris, France.

Tel. 227-05-79 766-21-83 924-94-47

Оплата подписки по ССР 5883-44 — Paris или чеком.

Подписная плата для ИЗРАИЛЯ  
Простой почтой

12 мес.	130 франков
6 мес.	70 франков
3 мес.	39 франков

Воздушной почтой

12 мес.	170 франков
6 мес.	88 франков
3 мес.	49 франков

Цена отдельного номера IL. 2.75

## ВЫ, КОНЕЧНО, ЖЕЛАЕТЕ ДАТЬ СВОИМ ДЕТЕМ ОБРАЗОВАНИЕ

В Израиле установлена плата за учебу в средних и высших учебных заведениях, и от Вас много зависит как обеспечить Вашим детям средства на эти цели.

**БАНК ГАПОАЛИМ** подумал о том, как помочь Вам в этом.

Программы сбережений Банка Гапоалим "ХИСАХОН ЛЕТИХОН" (для среднего образования) и "ХОСЕН ЛЕАСКАЛА ГВОА" (для высшего образования) дают Вам возможность обеспечить учебу Вашего сына или дочери в средней школе или университете. Пока они еще в детском возрасте Вы приступаете к ежемесячным сбережениям в относительно малых суммах, которые не обременят Ваш бюджет.

К накопленным сбережениям прибавляются проценты и различия по индексу потребительских цен, и когда дети поступят в учебное заведение их распоряжению окажется значительная сумма + специальное пособие. Поступившие в университет приобретают также право на получение ссуды на выгодных условиях.

Думайте о будущем Ваших детей уже сейчас, когда они в начале своего пути в стране!

Подробности во всех 235 филиалах **БАНКА ГАПОАЛИМ** во всех уголках Израиля и в **ОТДЕЛЕ ОЛИМ** Главного управления Банка, Тель-Авив, ул. Аяркон, 104.

Вышлите мне, пожалуйста, подробную информацию о программах сбережений; для среднего образования; для высшего образования;

Фамилия, имя: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!  
**БАНК ГАПОАЛИМ ЛТД**



# Цифры говорят

Выдержка из сводного баланса\*) на 31 декабря 1975

	1975 лир	1974 лир	Измене- ния в %
Сумма баланса	25.179.811.446	18.483.116.327	+ 36,2
Вклады (в т. ч. вклады для выдачи ссуд)	20.999.106.840	15.842.278.659	+ 32,6
Вклады населения	14.182.281.287	11.180.316.489	+ 26,8
Наличные и остатки в банках	9.278.718.642	7.325.897.514	+ 26,7
Ссуды (в т. ч. ссуды за счет вкладов для выдачи ссуд)	7.874.401.525	5.981.868.351	+ 31,6
Ссуды за счет средств банка	3.988.768.296	3.078.432.441	+ 29,6
Денежные средства (капиталы)	649.756.337	491.324.665	+ 31,7
Чистые операционные прибыли без вычета налогов	236.040.569	138.841.840	+ 70,0
Отчисление налогов	152.713.853	72.185.507	+ 111,5
Чистые операционные прибыли за вычетом налогов и прав меньшинства	71.104.782	58.218.989	+ 22,1
Разовые прибыли	3.081.380	18.007.005	- 82,9
Чистая прибыль за вычетом налогов	70.911.279	74.254.699	- 4,5

\*) Включая следующие банки: «Банк Баркалайс Дисконто» ЛТД, «Банк Меркантиль Ле'Израэль» ЛТД, «Банк Лемигуах умашкантоот Ле'Израэль» ЛТД.

ISRAEL DISCOUNT BANK LTD.



## ЭТА ЭМБЛЕМА,

КОТОРУЮ ВЫ ВИДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИИ БАНКА РЯДОМ С ВАШИМ ДОМОМ ИЛИ МЕСТОМ РАБОТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ЭМБЛЕМОЙ

ПЕРВОГО И КРУПНЕЙШЕГО БАНКА  
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Банк Леуми существует в стране свыше 70 лет, он был создан прорицателем нашего государства д-ром Теодором Герцлем. Банк Леуми также большой международный банк. К вашим услугам 338 отделений Банка Леуми в Израиле и во всем мире.

Банк Леуми предлагает вам все услуги, которые только может оказать современный банк.

Здесь ваши деньги находятся в надежных руках и дают вам прибыль по 11 разным вариантам сбережения и страховых касс. Один из этих вариантов безусловно отвечает вашим потребностям и возможностям.

Вы заинтересованы в дополнительных подробностях? Просите в нашем ближайшем отделении или пришлите нам приложенный талон. У нас имеются проспекты о всех наших вариантах сбережения и пенсионных кассах также на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

БАНК ЛЕУМИ ЛЕИСРАЭЛЬ Б.М.

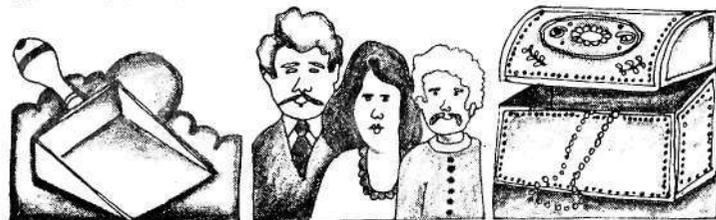
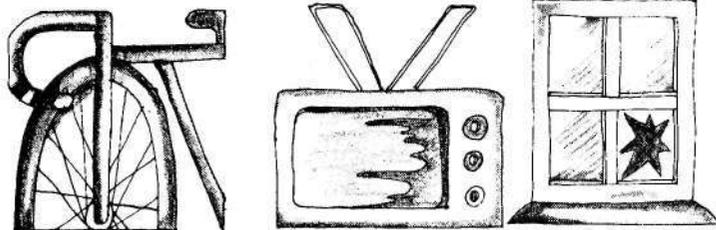
Bank leumi  בנק לַעֲמוּמִי  
LE-ISRAEL B.M. מִבַּנְקֵי אֲרָצֵנוּ

----- Заполняйте и пришлите нам прилагаемый талон -----

- Прошу выслать мне проспект с подробностями о
- страховых кассах
- вариантах сбережений
- карманный словарь иврит-русский на сто слов.

Фамилия .....

Адрес .....



**ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СТРАХОВАНИЯ ДОМА И СЕМЬИ  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВСЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМЫ**

В один полис вы можете включить все виды страхования, которые соответствуют вашим профессиональным наклонностям, образу жизни, имущественному положению и повседневным привычкам.

**ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ ДОМА  
И СЕМЬИ**

Полис общего страхования дома и семьи избавляет вас от риска и забот, с которыми вы повседневно сталкиваетесь: о доме и квартире, о домашнем

имуществе, о сохранении денег, драгоценностей, гарантии от стихийных бедствий и аварий.

Нет ни одного страхового общества, которое бы представляло столько возможностей и объединяло их в одном полисе.

Этот полис вы обновляете раз в год, в определенное время и получаете большую экономию.

Для выяснения всех подробностей вы можете обратиться к любому из агентов фирмы "Асне".

**הסנה**  
חברה ישראלית לבטוח בע"מ

**ציון**  
חברה לבטוח בע"מ



**ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ**

Тель-Авив, ул. Аленби, 120

тел. 614711



Художник Лев Ларский  
Корректор Нина Островская  
Технический редактор Наталия Ларская

MONTHLY "TIME AND WE". Tel. 03-295852  
Ibn-Gvirol St, 23/6 Tel-Aviv. Israel. P.O.B 24123Tel-Aviv

**На четвертой странице обложки рисунок Натана Фаингольда "Каббалист"**

